



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- ШОТА НИШНИАНИДЗЕ.** Колхидские напевы.
Стихи. Перевод Яна Гольцмана . . . 3
- НОДАР ЦУЛЕЙСКИРИ.** Деяния и мучениче-
ство Або и Иоанна. Исторический роман. Про-
должение. Перевод Динары Кондахса-
зовой 9
- МАКВАЛА ГОНАШВИЛИ.** Стихи. Перевод
Натаљи Аришиной 69
- ЛЕИЛА БЕРОШВИЛИ.** Рассказы. Перевод
Софии Геладзе 73
- ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ.** Хлеб. Рассказ . . . 87
- РЕВАЗ АСАЕВ.** Стихи. Перевод с осетинско-
го Николая Горохова 94
- СЕРГЕЙ ОКРОПИРИДЗЕ.** Стихи 96
- ЛАТИФШАХ БАРАТАШВИЛИ, КЛАРА БАРА-
ТАШВИЛИ.** Мы — месхи. Продолженне. . . 98

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- КОБА ИМЕДАШВИЛИ.** Перестройка и грузин-
ская литература 147

ЛИЧНОСТЬ И ВРЕМЯ

САРГИС ЦАИШВИЛИ. Исследователь истоков . 164
ГУРАМ АСАТИАНИ. Портретные зарисовки . 167

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

РОИН МЕТРЕВЕЛИ. Давид Строитель . . . 173

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

МИХАИЛ БУЯНОВ. По следам Дюма . . . 185

ЗОЯ МАРЧЕНКО. Встречи с Грузией . . . 200

НОННА ЭЛИЗБАРАШВИЛИ. Вера Федоровна
Шухаева (краткая биографическая справка) . 207

ИСКУССТВО

ИРИНА ДЗУЦОВА. Поэтические родники ста-
рого Тбилиси 209

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ВЫСТАВКИ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСИДЗЕ. Вид с балкона . . 213

РЕЦЕНЗИИ

АННА ФАЛИЛЕЕВА. Время и место . . . 216

ЭММА СЕРГЕЕВА. Несбывшееся воплотить . 219

ХРОНИКА 93,224

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 3

Обложка художника **Темура Кохреидзе.**

Колхидские напевы

Отару Тактакишвили

— I

Эту раковину, мастер, смиренно
Поднесла тебе, наверное, сирена —
Вот и полнится рояль твой певучий
Плеском ливней, блеском колхских созвучий,
Возникающих из пенного гребня.
Дали сверх того тебе, человеку,
И дрозда,
И соловья,
И канарейку,
И потоки звезд, добытых из кремня.

II

Я по земле шагаю не впервой
И все же удивляюсь постоянно:
— Воу, нана, дида вой,
Нана, дида вой,
Воу, нана...

Какое чувство в песне бьется мерно!
Кто слышал, тот покаялся, наверно.

В напеве древнем — безысходность горя.
Готов с собакой обниматься, право,
Когда напеву горестному вторя,
Она выводит:
— Воуу...
Вава, вава...

Старательно выискивая краски,
Я вывернулся, братцы, наизнанку,
Но край понтийский в парус лазо-чанский¹
Я завернул однажды спозаранку.

¹ Лазы и чаны — картвельские племена.

Душа, как сноп, исхлестанный жестоко,
Цепами битый в середине тока,
Но это горе — вовсе и не горе,
Когда поют, не ведая обиды,
Ошошия — пчела моих предгорий,
Мапшалиа — соловушка Колхиды!



III

Как хорош мегрельский дом,
Схожий издали с гнездом —
Из ветвей сплетен творцами
Дом, облепленный скворцами!

Но немислимо укрыться
От проделок комара —
Этот маузер турецкий
Так палит, что нету сил!
И безумный ливень снова
Хлещет с самого утра,
Даже листья оджалеши
Дыроваты, точно сыр.

Подскочил комар к марани,
Порешил, что пить пора —
Девять высосал кувшинов,
Спал с похмелья девять дней.
Мы на стрелы распилили
Чудо- жало комара:
На врага шлем лихорадку —
Пусть помучается с ней!

Суеверия в загоне.
Суеверия — долой!
Поп уселся на чертенка,
На шакале дьяк лежит.
На невесте овдовевшей
Подженился домовой,
А свекровушка — хвостата
И над жабой вожжит.

По заборам лай собачий
Повисает сгоряча.
Кто шагает под луною,
В свете лунного луча?

Просит музыки натура:
— Сиса, сиса, сиса, тура¹...

IV

Вон Чагу шагает, должно быть, зайвится к ночи.
Надулся спесиво — не Чагу, а сам очокочи²!
Без шума и грома он нынче не сделает шагу,
Он всех перебудит. Взгляните на этого Чагу!
Вот стукнули двери... Ей-богу, замашки дурные!
— Чагу,
Чагу,
Чагуния-я...

А голос не молкнет, и музыки просит натура:
— Сиса, сиса, сиса, тура...

Крапивница-чинчрака
Теперь страшной абрека:
Совсем с ума свихнулась,
На нас упала громом —

Ломает по-барсучьи,
Поля наполнив ломом,
Початки кукурузы —
Надежду человека.

Царь-пушка громынула —
Огонь страшнее бури.
И нанятую стражу
Я тотчас бросил в драку.
Сломали птичке ногу!
Ту ножку над Ингури
Мосточком положили.
Приладил — ходит стадо.
Из мелких перьев вышла
Прекрасная ограда.
Потом связал, как дэва,
А после прах тихони
На девяти упряжках
Отвез и продал в Хони.

¹ «Уйди, уйди, уйди, лиса...» — из мегрельской колыбельной.

² Лесной дух.

Слава князя Шервашидзе, далеко она гремела.
 Иноходец лунной масти гнет дороги, точно лужи
 Я украл луну Одиши¹, что была белее мела.
 Девять ангелов по люлькам, косы льются в каждой
 люльке.

И еще поставлю девять, ведь свекровь не против,
 в роде.
 Я—Мегрелии владетель—жду гостей со всех пределов.
 Если первенец родится, окрещу при всем народе.
 Шервашидзе будет крестным повелителя мегрелов.

VI

Вам — фиалки и чонгури,
 Цитэл батонэбо².
 Гость — от Бога, гость — от Неба,
 Цитэл батонэбо.
 Эта люлька золотая —
 Сверстница столетий —
 В чистом озере лежала,
 В древнем Базалети.
 А теперь в ней — Бог-малютка,
 Цитэл батонэбо.
 Белый конь примчался с неба,
 Цитэл батонэбо.
 Жеребца такого мне бы,
 Цитэл батонэбо.
 Поднебесный конь примчался,
 Он подобен диву:
 Чертенята расчесали
 Лунный хвост и гриву.

Между глаз во всем величьи,
 Цитэл батонэбо,
 Полный месяц светит Хвиче,
 Цитэл батонэбо.
 Если бы досталась сыну

¹ Одиши — Мегрелия.

² Народное название кори. Считалось, что больному надо петь, колыбель и всю комнату украшать — чтобы умилостивить «цитэли батонэби» («красных господ»).

Лунная добыча,
То Георгию Святому
Стал бы равен Хвича!
Пойте или говорите,
Цитэл батонэбо,
Но талантом одарите Хвичу,
Батонэбо.
Точно ястреба, учите
Жить на белом свете,
Чтоб малыш, подобно Цотнэ¹,
Не страшился смерти.
Дайте силы буйволиной,
Цитэл батонэбо.
Грузии моей былинной,
Цитэл батонэбо...

VII

Одежду апреля расцветили яркие почки.
Горячее время —
Колхидское лето в разгаре.
И пашня,
И сад
Не потерпят теперь проволочки:
Сажай и коси,
И кажи свою удасть, Махарэ².
Порадуй, Махарэ!
Пусть каждый угор апельсинный
И чайные кущи, под ливнем поющие звонко,
Дадут урожай золотой и невиданно сильный.
...И звезды с небес на лету оборвет амазонка
Колхидских предгорий:
Шустра и стремительна кроха!
Мы с песнею — дружками станем
На празднестве колха.
Так — многая лета!
Да будут года ваши сладки!
Не смог бы Эсебуа³ вас положить на лопатки!

¹ Цотнэ Дадияни — князь, народный герой.

² Махарэ — имя, буквально: обрадуй меня.

³ Эсебуа — знаменитый борец.



VIII

Нашел тропу от пения до плача,
 Открыл дорогу от болота к саду
 И, каждый шаг напевом обознача,
 Ты сединой украсился в награду.
 Опять «Одойя» гасит звук вчерашний.
 Опять весна призывно и упрямо
 Трубит оленем!

— Чари, чарирама...

Чонгури неба — зазвенели пашни.

И на плече у Грузии моей

Поет, поет колхидский соловей.

Перевод Яна ГОЛЬЦМАНА



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«МЕРАНИ»

ЧИЛАДЗЕ О. И всякий, кто встретится со мной...
 Роман. Пер. с груз. Б. Резникова. Тбилиси, 1988.—317 с.
 — 60 000 экз. — 3 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

ПЕТРИАШВИЛИ Г. Сны о птицах. Стихи. Пер. с груз. Д. Чкония. М., 1988. — 142 с. — 3 700 экз., — 40 к.

ЧИЛАДЗЕ О. Странствующий остров. Стихотворения и поэмы (пер. с груз.). М., 1988. — 272 с. — 6 600 экз. — 1 р. 30 к.



Деяния и мученичество

Або и Иоанна

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

УПОВАЮ НА ГОСПОДА

Смерть эристави Нерсе положила конец идее Божественного союза. Самоэл и Иоанн вновь разослали во все концы гонцов, дабы сообщить эристам о гибели Нерсе и бегстве в Тао-Кларджети Ашота. Назначенный на Рождество во Мцхета большой сбор отменялся.

На заре глашатаи возвестили народу о том, что настал день Рождества Спасителя.

В церквах ударили в колокола, затеплили большие свечи, отслужили вечерню.

Настало рождественское утро. Еще накануне к престольной церкви двинулись люди. Весь Мцхета был наводнен верующими. В Светицховели служил обедню Самоэл.

Або и Иоанн вместе пришли в храм. Иоанн заметил, что за ними следят, но не стал говорить об этом юноше. Вдохновенно слушал Або льющияся под сводами храма божественные песнопения.

Самоэл был истинным пастырем своего народа, каждое его появление вселяло веру и надежду. «Мир вам...», — то и дело обращался Самоэл к своей пастве, но никак не приходил мир на землю Картли. И в этот радостный рождественский день народ желал и жаждал лишь одного — мира, спокойствия и благоденствия.

Продолжение. Начало см. в №№ 7, 8.

После облачения католикому подали крест. Самоэл взял его в правую руку, свечу в левую и осенил крестным знаменем врата алтаря, затем паству, а затем тронное место, на котором сегодня должен был стоять эрисмтавари, занимающий ныне в престольной церкви место грузинских царей. Но его сегодня почему-то не было в Светицховели. Иоанн заподозрил недоброе, но успокаивал себя мыслью о том, что Степаноз присутствует на службе в Сиони. И все же было больно смотреть на то, как пустует в Светицховели царское место. Неужто отныне не ступит в Светицховели нога грузинских царей? Неужто народу его суждено рабство до скончания века?

«Нам и помолиться не дают, — подумал Иоанн. — Храм полон неверными, ходят, шепчутся, зевают, напоминают, наматывают на ус. Да святится, Господи, имя Твое... Что им нужно, зачем пришли они в наш храм?». Кроме сарацин и стражников, церковь была наводнена разным людом, в том числе и неверующими грузинами, которые должны были находиться в месте для оглашенных, но никто не следовал установленному порядку, и они мешали истинно верующим. Скучая и позевывая, бродили они по храму. Стражники нарочно загнали их в храм. Кому было наказано любым способом помешать обедне, кому надлежало пустить тревожный слух, кому прельстить сомневающихся ожидающими их благами в случае отречения от веры, кто просто фарисействовал, молился для виду.

И невольно мысли и чаяния истинно верующих отвлекались в таком окружении от божественных помыслов. Иные чувства овладевали их сердцами. Иоанн видел все это и горько переживал, но что он мог поделать, что изменить! «Нашими храмами овладел дьявол!» — думал старец, устремляя свои помыслы к Господу.

После окончания обедни Самоэл произнес проповедь. Католикос говорил спокойно, уверенно, убеждающе, и глаза его светились любовью. Он читал проповедь, стоя среди своей паствы, а не на амвоне. Послушать его, не страшась ни снега, ни стужи, пришел народ со всех уголков Грузии, из самых отдаленных деревень.

Не забыл католикос помянуть и порубленных у Уписцихе воинов, и о принятых Або во имя Христа муках,

всенародно указал на юношу и благословил как опору и надежду веры Христовой.

У Иоанна от радости пылало лицо, он не скрывал гордости своим учеником, не обращая больше на стражников внимания — привык к тому, что они следовали за ними шаг за шагом.

Або на виду у всех осенил себя крестным знамением.

Окончательно выздоровев и собравшись с силами, Або решил не обращать внимания на постоянную слежку и в один прекрасный день отправился в Тбилиси ко дворцу своего господина.

Дворец, которым завладели сарацины, был полностью опустошен и предан разорению.

Двери палат были сорваны, ратники и стража арбами вывозили из дворца награбленное.

Христиан вокруг видно не было...

— Вон отсюда! — неожиданно возник рядом с Або стражник и сильно толкнул его в грудь. Або не смог удержаться на ногах и упал.

Затем, пошатываясь, поднялся.

— Вон, тебе говорят! — сверкая глазами, еще раз крикнул араб.

Або обвел жалостным взглядом бывший кров своего учителя, осенил его крестным знамением и, тяжело передвигая ноги, пошел прочь.

Когда-то появление Або в храме вызывало у верующих кривотолки. Но после того, как Або выпустили на свободу и сам католикос упомянул его в своей рождественской проповеди, и раз он по-прежнему посещал церкви вопреки тому, что ему грозила за это суровая кара, раз он по-прежнему истово молился в храмах, то к юноше стали проникаться доверием, и он все больше и больше завоевывал сердца христиан.

Воины-арабы насмехались над стражниками, дразнили — мол, благодаря этому желторотому птенцу скоро, того и гляди, весь халифат креститься начнет, а вы разинули рты и ворон считаете.

Но без особого указа Бабака никто не смел тронуть Або пальцем. Бабак же ждал амира и эрисмтавари, словно и вправду был лишь исполнителем их воли. Спо-

койно и хладнокровно наблюдал он за юношей. На самом же деле начальник стражи лелеял далекий замысел — посадить под стражу самого эрисмтавари. Правда, за жестокую расправу с Ашотом и Нерсе Бабак и без того заслужил доверие и благодарность халифа, но ведь этого вовсе недостаточно! Теперь настал черед Степаноза и Иоанна. Потому и не перечил Бабак молодому амиру Али Хасану, не стал торопить события, и Али Хасан был доволен начальником стражи — мол, пусть думает, что амир милостив и терпим. Эрисмтавари как бабочка сам летел на огонь, зачем Бабаку было мешать ему? Ведь он сам поручился за Або, а Або не собирался вновь становиться мусульманином. Теперь можно было смело брать и того и другого. Теперь и самого эрисмтавари Картли можно было смело обвинять в том, что он коварно заставил Або отречься от бога мусульман. А не смог бы он доказать этого, так посеял бы сомнение в сердцах халифа и амира, а рано или поздно зернышки дали бы побеги.

Долго наставлял Бабак следящих за Або стражников, велел не упускать из виду ни один его шаг, не пропускать мимо ушей ни одно слово, а затем вошел к амиру с просьбой разрешить ему судить Або в присутствии эрисмтавари.

— Почему ты спрашиваешь меня об этом? — удивился амир, — ведь Або не грузин.

— Это эрисмтавари повинен во всем, великий повелитель, к нему, к эрисмтавари ведет ниточка.

Амира неприятно взволновало это известие и он впал в раздумье. Затем призвал к себе эрисмтавари и спросил про Або. Эрисмтавари стал оправдываться:

— Або в монастыре, повелитель Картли, он еще очень слаб и не выходит за его пределы.. И готом, кто знает, что таит в своем сердце какой-то там Або, не станем разжигать погасшие уголья.. С таким трудом удалось нам затушить пожар, вдруг он опять возгорится по нашему недомыслию.

Эрисмтавари посмотрел на Бабака. Последние слова были адресованы ему. Но Бабак делал вид, что ничего не понимает и отводил взгляд.

— Не думал я, что этот ваш Або рискнет еще раз пе-

реступить порог церкви, — ровным голосом сказал амир эрисмтавари и крикнул слугам: — Введите!

Бойко вошел один из лазутчиков, подошел к эрисмтавари и, смотря ему прямо в глаза, произнес, словно приговор:

— Ваш Або тотчас по освобождению из темницы, едва придя в чувство, отправился вместе с отцом Иоанном в Джвари, где молился и осенял себя крестным знаменем, это я видел собственными глазами.

Лазутчику больше нечего было сказать, и он посмотрел на Бабака — мол, как быть дальше? Бабак глазами указал ему на дверь. Первый лазутчик вышел, вошел второй и повторил то же самое. Даже слепому стало бы ясно, что говорят они со слов Бабака — не посмели бы простолюдины столь дерзко вести себя с эрисмтавари, не будь на то позволения их вельмож.

— Вашего Або... — начал второй. Эрисмтавари ухмыльнулся — «Або не мой, а ваш», подумал он, но не стал ничего говорить. — ...Я видел в Светицховели, он там молился за упокой души Нерсе, и католикос отслушал по его просьбе молебен.

Лазутчик вышел. Вошел третий.

— Ваш лекарь, — сказал он, — вчера пополудни напал на охранников дворца Нерсе. Одного из них он толкнул в грудь и тот упал. Остальным угрожал мечом и грозился, что убьет их.

— Что-что? — не выдержал Степаноз. — Вы говорите, Або на кого-то напал? Это невозможно.

— Я все видел собственными глазами, — ответил лазутчик, — у меня и свидетели есть...

В зал вошли двое «свидетелей» и остановились неподалеку.

— Воины, — обратился к ним лазутчик, — вы ведь собственными глазами видели, как лекаришка Або напал на охранников дворца Нерсе?

— Да, мы видели собственными глазами! — дружно ответили вошедшие.

— Слышите? — спросил амир Степаноза. — А вы твердите мне, что он уединился в монастыре и никуда не выходит.

— Достопочтимый амир, — вмешался в разговор Бабак, — спросите у эрисмтавари, был ли он не так дав-

но во дворце Нерсе, и не шел ли у них разговор об этом самом Або?

— Что из того? — удивился Степаноз. — Я и не скрывал этого.

— О чем вы вели беседу?

— О том, что Або необходимо вернуться в свою веру.

— А не напротив? У нас есть свидетели, — Бабак подал знак и в зал вошли двое.

— Вы и эристави Нерсе подстрекали Або к тому, чтобы он не возвращался в истинную свою веру, — сказал один.

— Вы совещались во дворце, мы все видели, — сказал другой.

— Это навет! — вскричал Степаноз.

Бабак рассмеялся:

— Навет! Тхм, тхм... — произнес он непонятные звуки и испытывающе уставился на Степаноза, — значит, вы отрицаете то, что мусульманин Або ходит в христианские храмы и там молится?

— Нет, не отрицаю.

— Значит, вы отрицаете то, что Або просил католика отслужить молебен за упокой души неусыпного врага халифата Нерсе. Это вы называете наветом? Введите священника!

В зал вошел дрожащий от страха священник.

— Скажи-ка, приносил или нет Або в храм кутью в помин Нерсе?

Священник посмотрел на Степаноза и виновато забормотал:

— Господь запрещает нам лгать, эрисмтавари. Да, приносил.

— И своему священнику вы не верите.

Степаноз молчал.

— Введите Иоанна!

Степаноз вздрогнул.

Иоанн, войдя, почтенно и с достоинством поздоровался со всеми и стал неподалеку, опустив голову.

— Отпущенного из темницы Або вы отвезли в монастырь, — начал Бабак, — в тот же день он пожелал навестить церковь и вы вместе молились во храме Светицховели. Правда ли это?

— Да, — не раздумывая, подтвердил Иоанн.

Эрисмтавари не верил своим ушам. Ведь Або был отпущен на поруки ему, Степанозу, и даже если это правда, и они действительно молились в тот день в Светицховели, Иоанн не должен был признаваться в этом.

— Владыки Картли, — спокойно начал он речь, — всяк сущий на земле и на небесах желает причаститься святой благодати. Або движет воля Господня. Мы, смертные, не можем противиться божьему помыслу.

— А мы можем! — прервал его Бабак, готовый лопнуть от ярости. — Эрисмтавари, — обратился он к Степанозу, — вы, преданный слуга халифа, взяли на поруки этого прощелыгу лекаря Або. Почему? Кто вас принудил?

— Я не желаю говорить с вами, — холодно отрезал Степаноз, — я самолично отправлюсь к халифу и расскажу ему о том, кто меня принудил.

— Знаем, мы хорошо знаем, кто вас принудил! — спокойно ответил амир, не желая продолжать спор. — Монах! — Свирепо уставился он на Иоанна, — давно уже просили меня взять вас под стражу. Это и сейчас не поздно сделать. Мы с эрисмтавари ограждали вас от этого. Как видно, мы ошиблись.

— Нет, владыка, вы не ошиблись, у вас не было причин для моего ареста, — прямо ответил Иоанн.

— У нас есть сведения о том, что вы были в Абхазети, — пришел на помощь амиру Бабак. — Знаем мы и то, зачем вы туда ездили.

Эрисмтавари сделал знак глазами Иоанну молчать. Каждое его слово приводило амира и Бабака в пущую ярость. Но Иоанн послушался Степаноза, достал эпистола и показал амиру, разъяснив ему ее содержание. Эпистола гласила, что монаху монастыря Джвари Иоанну разрешается взять освященное в Светицховели миро в Бичвинту¹.

— С этой же целью я побывал в Тао-Кларджети, Шавшет-Эрушети, Цанарети и Кахет-Эрети. Не может быть, чтобы у шуртадмтавари были иные свидетельства моего пребывания в этих областях.

¹ Бичвинта. — нынешняя Пицунда.

— Схватите Або! — повелел разъяренный амир. Выйдя из дворца амира, эрисмтавари сказали Иоанну:

— Я не в силах больше ничем вам помочь. Что бы ни случилось, пеняйте на себя.

«Покуда я доплетусь на своем муле до Мцхета, стражники опередят меня и схватят Або», — думал Иоанн.

Он очень удивился, встретив юношу молящимся в келье.

Иоанн рассказал ему все, что произошло во дворце амира и сказал ему:

— Возлюбленный Господом сын мой, ждут тебя плен, муки и терзания. Откажись от задуманного. Хотя бы на время.

Иоанн понял, что стражники нарочно не схватили Або. Они не хотели его смерти, ведь принявший смерть во имя Христа был бы объявлен святым, а они боялись этого, предпочитали, чтобы грузины сами заставили Або вновь сделаться мусульманином. Когда им не удалось запугать Иоанна и эрисмтавари, они прибегнули к хитрости, пусть, мол, Иоанн расскажет Або о том, что произошло во дворце амира, авось это заставит юнца взяться за ум и он откажется-таки от Христа.

— Я готов принять муки, учитель! — ответил Або Иоанну.

В Светицховели было по-прежнему многолюдно. Народ жаждал услышать католикоса. Храм не вмещал всех верующих и люди наводнили даже сад перед храмом.

«Або идет, Або идет!» — послышался отовсюду радостный шепот, когда юноша появился близ Светицховели. Народ расступился, приветствуя его, а затем потек за ним следом. Або шел с просветленным лицом, улыбаясь и осеняя себя крестным знамением. Юродивые, высыпавшие на паперть, еще издали заметили светлый нимб над его головой, подбежали к нему и, упав на колени, принялись целовать следы его ног. Тем временем Або достиг ворот храма, и все расступилось перед ним. И в тот момент, когда юноша должен был переступить порог, возникли вдруг стражники, скрутили ему руки и связали его веревками. Конные стражники ворвались в

людское море и плетками разогнали верующих. Затем окружили связанного Або и погнали его по дорогам на Тбилиси.

Напуганные люди провожали его горестными взглядами, не решаясь приблизиться.

И покуда вовсе не скрылся из виду мученик Або, стояли жители Мцхета по берегам Куры, осеняли себя крестным знамением и молили Господа быть милостивым к нему.

НОЧЬ ПЕРВАЯ

Они достигли Тбилиси затемно. Когда отряд всадников въехал в Кала, вынужденный всю дорогу бежать за верховыми Або уже еле волочил ноги. В дороге он падал несколько раз, но никто не сжалился над ним, так и волокли по земле и били кнутами, пока не встал на ноги.

В Калаубани Або завязали глаза, долго водили какими-то закоулками, то и дело пиная в бока, затем раздался лязг железных замков, он почувствовал толчок в спину и полетел в пропасть. Но ему повезло, и он не ударился лицом в стену, а упал. «Земля», — пронеслось в сознании.

Вдруг он заплакал, сам не зная, от радости или от отчаянья, и полностью отдался во власть окружающей бескрайней тьме, словно бальзамом обволакивающей его истерзанное и изнуренное тело.

Внезапно он ощутил запах крови. Теплая жидкость стекала по носу, губам, щекам. «Кровь...» — Або ощутил ее на вкус.

И вновь погрузился во тьму... Даже вздремнул. А когда проснулся, если можно назвать это пробуждением, то из глубокой тьмы донеслись до него тихий стон и шорох. Приподнял голову и прислушался. Казалось, сама тьма подползает к нему. Звуки все приближались. Або охватил страх. Подобное не раз приключалось с ним во сне. Но нет! Дыхание и шорох раздались совсем близко, кто-то или что-то подползало к нему. Затем кто-то погладил его по голове... «А-а...» — в страхе закричал Або...

— Або, — раздался во тьме шепот, — я ищу Або.
Это ты?

Юноша успокоился — это был голос человека.

— Кто ты? — с дрожью в голосе спросил он.

— Не бойся, — ответил голос.

Або наконец-то пришел в себя. Действительно, чего ему бояться? Смерти? Но ведь он готов принять ее с радостью?

— Я Карич Каричидзе, — ответил голос, — я здесь с тех пор, как тебя впервые схватили. В день несколько раз меня избивают стражники, отрекись, мол, от Христа и уверуй в Магомета. О-о-ох... Здесь я впервые услышал твое имя. Оказывается, ты отрекся от своей веры и поверил в Иисуса Христа. Чем же досадил тебе твой бог, что ты отрекся от него и обратился к другому? Из-за тебя меня пытаются, хотят тем же отплатить христианам. О-о-ох!.. Хотят, чтобы кто-то из христиан принял мусульманство. Оказывается, так повелел халиф. Этим человеком оказался я. Меня схватили прямо на улице. И теперь пытаются — хочешь не хочешь, а становись мусульманином. Ты, сыночек, и вправду Або?

— Да, я Або, — шепотом ответил Або, хотя в этом склепе кроме них никого не было и никто не мог их слышать.

— Если ты Або и если ты вправду веруешь в нашего Господа, — отрывистым, надрывным голосом говорил старик, — отрекись от него, сыночек, стань вновь мусульманином, о-о-ох!.. И ты успокоишься, и моим мукам конец придет, и много людей еще сможет спокойно спать наконец... Говорят, о-о-ох, что из-за тебя много людей страдает. Говорят, все тюрьмы переполнены христианами, страшные муки им грозят. Завтра ты услышишь их стоны.

— Добрый человек, — сказал Або, — руки у меня связаны, — окажи милость, развяжи их, уж больно трет веревка...

— У тебя руки связаны? Негодяи! Но не смогу я, сынок, помочь тебе, руки мои теперь умеют разве что шарить в темноте. Во время пыток у меня сорвали ногти, а указательный, кажется, и вовсе отрубили, раны мои так и горят. Неужто не появится в этой жуткой про-

ласти христианин, который убил бы меня и положил конец моим мукам...

«Карич Каричисдзе? Странно, наверное, его ко мне подослали», — подумал Або и решил держать ухо востро и не болтать лишнего.

— Разве я позволил бы им так измываться над собой? — продолжал узник. — Давно бы уж стал мусульманином, если бы бога не боялся. И бога боюсь, и пыток не выдерживаю, нет сил уж боле терпеть эту муку. Когда-то ведь придет конец моему терпению. О-о-ох!.. — он заговорил еще тише, словно прячась от самого Господа. — Говорят, что все наше семейство ждет такая же участь! А может, воля Господня в том и состоит, чтобы принять мусульманство, а мы никак этого не уразумеем. Потому и пали нам на голову эти муки...

— Нет, христианин, не в том воля Господня, — шепотом ответил Або, — то воля Сатаны, это он мучит нас, Грузией овладел Сатана. Страна, бывшая уделом Богородицы, попала во власть Сатаны. Это он говорит в тебе, он!

— Або, — вскрикнул в темноте Карич Каричисдзе, — неужто я не знаю этого?.. А что, если и в этом воля Господня, что, если не достоин я его, что, если велика честь для меня быть христианином и Господь повелевает мне принять мусульманство?.. Я ждал тебя, мученик, — продолжал Карич Каричисдзе. — Сказали, что сегодня вечером тебя приведут, и я решил подождать. В тебе моя последняя надежда. Если вернешься ты в свою веру, то и я смогу остаться христианином. Не станут они меня больше пытать, не станут требовать, чтобы стал я мусульманином. Тебе ведь проще отречься, чем мне, ты ведь возвращаешься в свою исконную веру.

— Тебя подослали! Прельстился звоном динар? — не сдержался Або. — Иуда! — в голосе Або звучала угроза.

— Ошибаешься, юноша! Иуду купили за тридцать сребреников, а нам и ломаного гроша не посулили, ни за что нас иудами сделали, здесь таких, как я, много... Невмоготу мне боле, с завтрашнего дня я мусульманин, истинный мусульманин!

— Сатана! Боже праведный, миром овладел Сатана! — вскричал Або и вновь припал к земле.

В темнице воцарилось молчание.

Або стал молиться, молча, не поднимая головы. «Господи, помилуй нас... Не покидай нас, Господи, сохрани и помилуй, Господи, нас, тебе преданных и тебя возлюбивших... храни нас от врагов наших, ибо ты наш Бог, а мы твоя паства». Этой молитве учил его Иоанн. Это он перевел ее с греческого и познакомил с нею своих учеников. Во мраке перед мысленным взором Або пронесся образ Иоанна. И он молился все истовей..

Вдруг ему послышался шепот, подумалось, что это зовет его Карич Каричидзе. Прислушался. Карич Каричидзе молился. Тихо и отчаянно шептал он «Отче наш...».

У Або отлегло от сердца — Господь не оставил их в этой страшной темнице, не отвернулся от них.

Они молча молились. И до утра не перемолвились больше ни словом.

Утром за Або пришли стражники. Развязали ему руки. Наверное, должны отвести к амиру. «Або, помолись за мою грешную душу! — попросил на прощание Карич Каричидзе. — Сегодня я увижу дневной свет!».

Або поначалу отвели в баню, даже покормили. Затем за ним пришел начальник стражи с десятью воинами. Поначалу они долго шли подземными лабиринтами, затем прошли по какому-то тоннелю, затем карабкались по высокой крутой лестнице, шли узким коридором, затем широким. «Ведут, ведут», — слышал Або у себя за спиной возгласы. Ему не разрешали смотреть по сторонам, но он все-таки не сдержался и оглянулся. «Наверное, я во дворце амира», — подумал он. Они и вправду вошли в большую светлую залу, дверь в которую охраняли два копьеносца, два лучника и два меченосца. Они обыскали Або. Даже веки ему отвернули.

Або удивился, узнав, что его ведут к амиру. Обычно, в другое время и в других странах мусульман отправляли на тот свет без особых церемоний. Або же поначалу призвал к себе шуртадмтавари, а теперь вот его ждала встреча с самим амиром. Видать, он не простой мученик, и сарацины видели в его поступке нечто большее, чем обычное отречение от исконной веры.

Амир встретил Або с улыбкой. Пленник не верил своим глазам. Амир был первым из мусульман, кто улыбнулся ему. Что предрекала ему эта улыбка?

Або опустил на ковер и приветствовал своего владыку.

— Говорят, ты мусульманин? — ровным голосом спросил у распростершегося на ковре юноши амир. — К тому же, сын смотрителя тюрьмы?

— Истину молвите, великий владыка, — ответил Або, — рожден сарацином, воспитан в мусульманской вере...

— Ты покинул отечество, родных, уверовал в Христа. Тебя совратили христиане...

Або оставил последние слова амира без ответа, словно и не услышал их.

— Ты сын великого народа, юноша, ты араб, наделенный умом и разумом. Халифату нужны такие, как ты. Наимогущественнейший халиф надеется именно на таких, как ты. Ты же стал приспешником чужеземцев. Вряд ли они примут человека, который изменил своим корням. Арабы владеют миром, почти весь мир говорит по-арабски. Нам принадлежит будущее. Если бы ты это знал, ты бы никогда не изменил своему отечеству.

В голосе амира теперь звучало волнение, ему нравилось собственное красноречие, и он постепенно поднимал голос.

— Новый халиф наш, Мосэ аль-Мумни, еще молодой человек и вокруг него много молодежи, даже великий визирь его наш ровесник, — и раз нам, молодым, оказано такое доверие, то мы должны оправдать его, пусть даже ценой крови, не так ли?

— Сущая правда, владыка, — ответил Або, — я сын великого народа. Халифату нужны молодые, сильные люди, и тот, кто способен изменить отчизне, не заслужит доверия чужеземцев. Арабы владеют миром, почти весь мир говорит на арабском языке. Великий халиф Мосэ аль-Мумни молод, и вы тоже молоды, и раз халиф оказал вам доверие, вы должны быть преданы ему.

— Почему же ты изменил родине, раз ты все это хорошо знаешь? Встань, я не люблю унижающихся мусульман.

Або встал, печальным взглядом оглядел стражников и сказал:

— Я не изменник...

Або с трудом выговорил эти слова. Он произнес их, низко потупившись, и даже когда амир вплотную подошел к нему, он не поднял головы. Амир приподнял Або голову и посмотрел ему в глаза.

— Как, — удивился он, — так кто же ты?

— Я верующий, я верую в Бога...

— В Бога? В какого Бога — в Бога врагов?

— Почему врагов, повелитель, разве грузины враги арабам? Грузины, арабы, персы, иудеи, хазары — все мы дети Господни.

— Або, о тебе говорят, что ты умный юноша, неужто ты не знаешь, что Господь создал мусульман, дабы они повелевали всеми прочими?

— Неправду молвите, владыка, Господь милостив, Господь не допускает несправедливости. В том, что брат поднимает руку на брата, проливает кровь брата, отнимает у брата надель и земли, повинен Сатана, а не Господь. И изменник тот, кто посылает братьев своих проливать братскую кровь и отнимать у братьев их земли.

— Кого же ты обвиняешь в этом? — испытующе спросил Али Хасан, уже потерявший терпение и надежду образумить упряма.

— Вас, халифат! — прямо ответил Або.

В глубине души амир ждал такого ответа. Услышав его, он обязан был призвать стражников и приказать им отрубить Або голову. Но Али Хасан не был похож на амира Саида. Истинный владыка, по его мнению, не должен столь быстро расправляться со своей жертвой. И раз его назначили правителем целого народа, каждый его шаг в этой чужой стране должен быть предельно продуман и рассчитан. Он собрался с силами, призвал себя к спокойствию и решил еще раз попытаться образумить этого иступленного христианина.

— В тебя вселился дьявол! Быть может, это случилось потому, что ты тяжело жил здесь, среди чужих людей, ты был рабом и достоинство твое было поругано. Я повелитель этой страны, я дам тебе все, что ни пожелаешь, тебе будут оказаны самые большие почести, я сделаю тебя военачальником, ты будешь командовать ты-

сячей, одарю тебя серебром и золотом, только не говори никому эти сатанинские слова.

Або улыбнулся.

«Чему он улыбается?» — удивился Али Хасан.

— Я не жду почестей от людей, — прошептал Або, — серебро и золото мне не нужны. Мне доступны помыслы Господни, а других почестей мне не надобно. Золото можете оставить себе.

— Кандалы! — со злой усмешкой вскричал Али Хасан.

Палач внес заранее приготовленные для Або железные оковы. Ему сковали руки и ноги и поволокли прочь. Но прежде чем навсегда покинуть покои амира, Або громко, во всеуслышание произнес:

— Благодарю тебя, Боже праведный Иисус Христос, ибо счел меня достойным мук во славу Твою...

Подбежали стражники и закрыли ему руками рот. Одно упоминание имени Иисуса во дворце амира было кощунством.

НОЧЬ ВТОРАЯ

Он медленно вышагивал по камере, вслушиваясь в лязг железных оков. На воле был яркий день. Здесь же — крошечная темень. Вскоре темень стала совершенно непроглядной. «Наверное, пришла ночь», — подумал Або и перекрестился скованными в кандалы руками. Эту ночь, в ожидании своей участи, он проведет в молитвах. Вновь погрузился в темную бездну, думая о Кариче Каричисдзе. Надеялся, что встретит его, вернувшись в камеру. Наверное, он свершил то, что задумал, решил Або, и у него упало сердце. Каричисдзе уже никто бы не сумел помочь, его душой овладел дьявол. «Говорят, эти темницы полны христиан», — слышался ему голос Каричисдзе. Неужто и среди них найдутся такие, как Каричисдзе, которые поступят так же, как он?

Ради чего принимал Або муки, ради кого?.. Если грузины сами отказываются от своего Бога, то все слова Або лишь глас вопиющего в пустыне.

А может, и вправду все это тщетно, может, и вправду лучше было бы таить в своем сердце любовь к Иисусу, молча молиться и тайно осенять себя крестным зна-

мением? Або думал, что он жертвует собой и ради арабов, и ради грузин. Ему казалось, что два избранных народа стоят на грани гибели. Один был покорен и, пребывая в рабстве, с каждым днем терял свое истинное лицо, другой, охваченный жадной порабощения, творил кровопролития и бесчинства.

Або почувствовал, что в его убежденность прокрадываются сомнения, осудил себя за малодушие и испросил у Господа за это прощения. Он погрузился в окутывающий его мрак и постарался призвать к себе наставника. Нерсе пришел к нему из пелены мрака, улыбнулся и вновь растворился во тьме. Эта улыбка запомнилась ему еще с тех давних времен, когда Нерсе впервые услышал о крещении Або. Было это у хазар.

— Або! — подозвал его эристави и обнял за плечи. — Ты, оказывается, смелый юноша, — добрая улыбка светилась на лице эристави.

Сам эристави Нерсе обращался с ним как с равным! Как счастлив был тогда Або!..

Но и сейчас он не роптал на судьбу, ни оковы не причиняли ему боль, ни темница не страшила. Не мучничества, не смерти во имя загробного блаженства жаждал он, он жертвовал собой ради людей, ради всего человечества.

— Або! — окликали его какие-то голоса. И люди владыки Абхазети Леона приглашали его в покои. Это было невероятно — прославленный Леон Второй — владетель Абхазети, Эгриси, Чанети, Аргвети приглашал к себе на пир какого-то лекаря Або.

В престольной церкви трижды ударили в колокол, перед дворцом Або встретил телохранитель Леона. Або не верил своим глазам — оказывается, это Нерсе поведал Леону историю крещения Або. Поступок Або привел в восхищение Леона, и он приказал по-царски принять почетного гостя.

Глаза Або яркими угольками светились во тьме — пленник Або взирал на того, счастливого Або, которого радостно приветствовали при дворе эристави.

Сам Леон вышел ему навстречу. И тогда запомнилось ему лицо Нерсе. Учитель улыбался ему, гордясь своим воспитанником. Або опустился на колени перед эрисмтавари и поцеловал полу его одеяния. Леон пред-

ставил Або своим приближенным. Он сказал тогда, что и грузинские, и арабские юноши должны брать с него пример.

Або не знал, доведется ли ему хоть раз еще взглянуть на белый свет. Отныне его пристанищем был склеп. Но те светлые дни стояли у него перед глазами, и всей душой своей он находился там, в том времени, а не в этой крошечной темени.

Правитель Абхазии Леон обращался с Або как с равным, даже сдружился с ним. Або чувствовал себя неловко, он ведь не получил воспитания, позволяющего вести себя должным образом. Он был рожден слугой и воспитан как слуга. Леон же не раз призывал Або во дворец и расспрашивал о том, почему и как он крестился. И Або, потупившись, рассказывал о том, как ощутил в душе своей веру в Иисуса Христа.

Вместе с Леоном и Нерсе ходил Або в храм Святой Божьей Матери и вместе с ними предавался молитвам. Абхазские отцы церкви почитали Або истинно верующим и поминали его в своих проповедях. «Праведны устремления к извечной доброте», — заповедал апостол, и последовал Або святому наказу, покинул город и провел три месяца пустынником в молитве и постах.

Правитель и святые отцы Абхазети прониклись к Або еще большей любовью и просили остаться в их стране.

— Страной грузин овладели сарацины, — откровенно признался ему Леон, — ты сарацин по рождению своему, боюсь, что объявят тебя изменником веры и сгинут твои праведные труды.

— В Картли постиг я милость Господа нашего Иисуса Христа, — это был голос того Або, обласканного абхазами, — там сбросил он пелену с очей моих, поведал о невежестве моем и открыл великую тайну бытия. Никому не сломить мою веру, никому не совратить меня с пути истинного. Да осыпят меня золотом, да пытаются и терзают плоть мою — не сломить им моей любви к Господу.

— Сын мой, по закону сарацин того, кто отрекся от своей веры, ждет казнь, — прямо сказал ему Леон.

— Або мы никому не дадим в обиду, — отозвался Нерсе.

Глаза юноши наполнились слезами. Он представил себе Нерсе, но не связанного по рукам и ногам и лежащего на холодном полу камеры, а виновато потупившего голову перед Степанозом — и все это из-за него, из-за Або.

Но самым ярким видением его была все же накидка, пестрая египетская накидка...

Правитель Абхазии подарил ему ее на прощание...

Леон приказал одарить своих гостей — Нерсе пожаловали пару отменных жеребцов в богатой упряжи. А слуге его, «возлюбившему Христа арабу», как его называли при дворце Леона, — египетскую накидку. Всю дорогу он крепко прижимал ее к груди, а потом как зеницу ока хранил в монастырском сундуке, ведь дорожке у него ничего не было. Эта накидка напоминала ему о светлых днях, проведенных в Абхазии, потому и возникла она у него перед глазами в этой темнице.

Он сел, прислонившись к стене. Ночь он проведет, читая псалмы. Время от времени вновь возникали перед глазами картины его небогатого прошлого, мелькали перед мысленным взором лица, отвлекая от молитвы и возвращая к мирским помыслам. Какой же сейчас час? И вообще, сколько прошло времени?

Ему вдруг стало не хватать Карича Каричисдзе. Как-никак, с ним было лучше, чем томиться в одиночестве. Но он не смог представить себе Карича Каричисдзе, на месте его лица было черное облако, черная пропасть...

Ужасные слова исторгала черная пропасть — «Из-за тебя в тюрьмах пытаются христиан, нам и ломаного гроша не посулили, ни за что нас иудами сделали». Но эта говорящая пропасть была ему предпочтительнее крошечной, словно драконова пасть, тьмы. Он вновь обратился к прошлому. Ни будущее, ни тем паче настоящее не сулило ему отрадных дней. Он должен жить прошлым и на прошлое свое опираться в минуты испытаний, оно оставалось с ним и во дни невзгод, и во дни радости, и в плену, и на свободе. Теперь же у него не было ни прошлого, ни будущего, был лишь мрак. Тяжелое черное одиночество овладело им, и казалось, что самого его здесь нет, а есть лишь наводящая ужас темь.

Темница амира находилась по ту сторону Курь, на краю города. Рано поутру к воротам подошел облаченный в черную рясу монах и попросил у стражника разрешения встретиться с тюремным управителем. Стражник пробурчал, что управителя нет, и стал прогонять непрошенного гостя. Тогда монах сказал стражнику, что хочет, чтобы его заточили в темницу. Стражник удивился столь странным речам и, решив, что монах не в своем уме, стал еще ретивее прогонять его прочь. Но, прежде чем стражник успел пустить в ход руки, монах побежал к темницам. Стражник поднял крик, отовсюду бежался народ — стража, тюремщики да и сам управитель. Тем временем монах нашел открытую темницу и водворился в нее.

Вокруг поднялся переполох — где это видано, чтобы человек сам, по своей воле садился в тюрьму, требовал запереть за ним дверь. Кто этот странный монах в рясе и клобуке? Управитель был омусульманившимся грузином и легко узнал в нем духовника царского двора Иоанна Сабанисдзе, удивился этому и даже испугался, затем благоговейно приблизился к Иоанну и спросил:

— Чем объяснить ваш поступок, святой отец?

— Добрый человек, свяжите мне руки и возьмите под арест, как и полагается.

— Мы сами, без приказанья свыше не имеем права брать под стражу кого бы то ни было, а тем более вас, святой отец..

— Тогда приведите ко мне тех, у кого это право имеется!..

— Мы уже предупредили их, но прежде чем они придут, скажите, чем я могу быть вам полезен. Быть может, вы пожелаете выйти и подождать на свежем воздухе?

— Я требую, чтобы меня арестовали, я виновен! — еще раз настойчиво во всеуслышание повторил Иоанн.

Управитель тюрем не знал, что и предпринять — подобного еще никогда и ни с кем не приключалось. Необходимо было поставить в известность Хаджидж ибн аль-Бабака. Иного выхода не было. И кто знает, какая кара ждала после этого тюремную стражу. Послали гонцов к эрисмтавари и к Хаджидж ибн аль-Бабаку.

Эрисмтавари впал в недоумение — никак не мог он

уразуметь, почему Иоанн потребовал своего ареста, решил, что это хитрая уловка перед очередным заговором, призвал к себе Микаэла и поведал ему о странном поступке отца, предупредил также о том, чтобы он никому об этом не рассказывал, — и они вдвоем направились к тюрьмам.

Степаноз подошел к темнице один — Микаэл не решился показываться отцу на глаза.

Свет в темницу проникал сквозь открытую низкую дверь — человек должен был входить внутрь согнувшись в три погибели.

Эрисмтавари остановился на пороге. Не подобало ему входить в темницу, да еще согнув спину, он наклонился и заглянул внутрь. Ничего не было видно. Затем оглянулся на стоящих у него за спиной начальника караула и управителя тюрьмы.

— Пожалуйте, он здесь, — шептали они ему.

Степаноз еще разок заглянул в темницу и нерешительно переступил порог. Тщетно искал он глазами в крошечной тьме Иоанна.

— Иоанн! — тихо окликнул он его наконец.

— Добро пожаловать, эрисмтавари, — приветствовал его из тьмы Иоанн, и Степаноз разглядел, как он встал на ноги. «Он сидел, — подумал Степаноз, — сидел на земле, как простолудин!».

— Пойдем, Иоанн, я все понял, пойдем отсюда! Поговорим там, во дворце..

— Прикажите, повелитель, принести кандалы! — холодно прервал его Иоанн.

Степаноз растерялся.

— Прошу вас, — изменившимся уже тоном повторил он, — пойдемте во дворец, пока об этом не узнал амир, — прошептал он.

— Нет, повелитель. Прикажите принести кандалы!

— Ну что ж, тогда хотя бы.. — эрисмтавари огляделся по сторонам и сел на ведущие в темницу ступени, — поведайте мне, почему вы так спешите надеть оковы?

— Я виновен, ни святой чин не уберег меня, ни владыка наш Иисус Христос. Не смирился я с произволом сильных мира сего..

— Учитель, — прервал его Степаноз, — вы греховны,

а не виноваты, и не сюда вам надлежало прийти, а в церковь, не мне вас учить, — эрисмтавари обрадовался, казалось, он нашел уловку, чтобы заставить Иоанна выйти из темницы.

— Нет, мой повелитель и духовный сын мой! Греховен тот, кто не исполняет волю Господню. Я жажду борьбы с ними — и на то есть воля Господа. А исполнить ее мешает мне ваш закон. И жажду я нарушить ваш закон, а не Господень.

— И в том, чтобы заточить себя в темницу, вы видите единственный выход из этого положения?

— Единственный...—голос старика сорвался. Он вышел из темноты, поклонился эрисмтавари и уже просительным тоном продолжил:— Прошу вас, прикажите арестовать меня, я ведь никогда ни о чем не просил вас. Мне не мил белый свет, я не желаю жить среди рабов, я хочу умереть! Но Всевышний не позволяет мне самому распрощаться с жизнью. Неужто вы не поняли до сих пор, какой огонь горит в моей груди! В чем искать нам надежду и упование, владетель Картли? Какими глазами смотреть на мир порядочному человеку! — Иоани безвольно поник головой.

Сабанидзе был человек крепкого телосложения, с широким, ясным челом и энергичными чертами лица. У него был красивый, низкий баритон. Произнося последние слова, он опустил голову и лица не было видно — лишь плечи его дрожали.

— Человека сажают в темницу за то, что он верует в Господа. А я, духовный наставник того пленника, не в силах противостоять произволу!

— Опять этот Або! — воскликнул Степаноз, в отчаянье схватился руками за голову, — я так и знал, что рано или поздно все замкнется на этом юнце!

— Да, возлюбленный сын мой, так оно и есть, но на этот раз я ни о чем вас не спрашиваю, мне самому ведомо, как надо поступить. И если вы не обладаете полномочиями для того, чтобы арестовать меня, попросите об этом амира. Пусть меня тоже арестуют и казнят вместе с Або.

— Мне не придется просить его. Как только о вашем поступке узнают во дворце, на этих дверях повиснет железный замок... Микаэл ждет вас во дворе, — ни с того ни с сего сообщил вдруг Степаноз.

— Ничего, пусть подождет, — ровным тоном ответил Иоанн, словно ожидал этих слов.

— Вы жертвуете собой ради чужеземца, а о родном сыне, похоже, не помните вовсе?

Степаноз воспользовался уловкой, заманивал Иоанна в последнюю уготованную ему сеть.

— Неужто вы любите его сильнее родного сына? О надежды хотя бы подумайте о Микаэле, позаботьтесь о его будущем. И если вы так легко жертвуете собой, сделайте это хотя бы ради него.

— Мой любезный, — усмехнулся Иоанн и вновь скрылся во тьме, — именно ради него я и жертвую собой... и ради вас, и ради себя... Я расскажу вам одну историю, может, она разъяснит мои намерения.

В железной клетке сидел медведь. Он был голоден, и его томила жажда, но он не роптал и спал целыми днями, положив голову на лапы. «Я ведь все равно не разорву железные прутья», — думал он, смирившись со своим пленом. Так он и спал — целыми днями и ночами. Шел как-то мимо добрый человек, жаль стало ему медведя и открыл он двери железной клетки. Но медведь так и не пошевелинулся, у него не осталось даже надежды на освобождение. Тогда добрый человек стал будить его, медведь проснулся, вырвался из клетки и перво-наперво разодрал того доброго человека. Затем убежал в лес и стал жить по-старому. Вот так и мы с Або должны разбудить спящих. Разбуженный народ, как и разбуженный зверь, поначалу страшен, и, возможно, нас обоих постигнет участь того доброго человека. Но проснувшись, народ рано или поздно заживет по-человечески. А нам большего и не нужно.

Степаноз сидел на ступеньках в полном отчаянии, не слушая басню и не вникая в ее смысл. Он думал лишь о том, что сказать амиру, и сетовал в душе, что самые необъяснимые и невероятные вещи должны происходить именно в его владениях. Неужто новый амир не поинтересуется тем, почему и во имя чего из-за араба Або грузинский монах требует посадить его в темницу? Что он мог сказать, какими словами объяснить поступок Иоанна!

— Что я скажу амиру! — простонал он наконец и посмотрел на Иоанна.

— Скажите, пусть меня арестуют как наставника Або.

Степаноз вышел из темницы и в полном отчаянии пошел прочь, уводя с собой Микаэла. Иоанн не пожелал встретиться с сыном. Сын побоялся встретиться с отцом. После «коленипреклоненного ожидания» между ними возникла стена отчуждения.

Эрисмтавари приказал тюремщикам дожидаться самого амира, я, мол, здесь бессилён.

Иоанна оставили в камере с открытыми дверями, авось, образумится и выйдет.

НОЧЬ ТРЕТЬЯ. ВОДА

«Вода...». Вот уже третий день ни капли ее не было во рту. Больше терпеть он был не в силах. Ночью стало совсем невмоготу. Но почему он не в силах более терпеть? Неужто плоть его восторжествовала? Воды! Почему ему не дали воды? Быть может, решили, что он должен умереть от жажды... Хотя, там тоже воды не было... Ему вспомнился тот жуткий склеп. Но там ему не хотелось пить. А если бы и захотелось, он мог обливать стены, ведь по ним текла вода. Здесь же нет ни капли. И он шарит руками по стенам, шарит старательно, терпеливо. Нет, нет ее нигде, нигде. Горло пересохло, и язык одеревенел. «Воды... Воды...», — шепчут стены. Сегодня поутру на его стоны раздался скрежет замков и тюремщик приказал избить его батогами. Появились двое стражников, повалили на пол и избили. После побоев у него горели бока и спина, боль становилась невыносимой, но по-прежнему отчаянно хотелось пить. Но как, как добыть хотя бы глоток воды? Что предпринять? К какой прибегнуть хитрости? Он решил дожидаться полночи. И тогда, когда все отправятся по домам, он разбудит тюремщика и попросит у него глоток воды. Терпеть становилось невмоготу. «Воды!» — гудели стены темницы.

«Воды! — изнывала каждая частица его тела, — так вот в чем дело, они решили известить меня жаждой, знают, что голод христианину нипочем».

Он стал медленно ходить взад-вперед, прислушиваясь к лязгу кандалов и журчанью струящейся в пропасти воды.

На улице, наверное, холодно и идет снег. В темнице тоже холодно, но, кроме жажды, Або ничего не чувствует, жажда победила и холод, и боль, и голод, она взметнулась, как искра в стоге сена, и полыхала теперь костром во всем его теле.

Как он стремился к смерти! Жизнь он не ставил ни в грош, лишь бы сохранить достоинство, не изменить своей вере, своему Богу. Ни амир, ни эрисмтавари, ни христианин, ни мусульманин, никто не сбил бы его с пути истинного, а вот вода, вода — вот чем дьявол совращает его!

На цыпочках подошел к двери. «Пора!» — подумал он и тихонько постучал. Поначалу послышался далекий кашель, затем шаги. Або замер и прислушался.

Шаги прекратились. «Подошел к двери, — подумал Або, — сейчас отворит...».

— Чего еще? — прохрипел тюремщик.

«Не отворил,» — огорчился Або, из-за закрытой двери не так-то просто было тронуть каменное сердце тюремщика.

— Вы похожи на моего отца! Слышите, вы похожи на моего отца! — обратился к нему Або.

— Из-за этого ты меня разбудил? — свирепо ответил голос. — Батогов захотел?

— Ваш голос напоминает мне голос моего отца! Клянусь, я говорю вам истинную правду.

— Дождешься того, что я разбужу стражников!

— У вас есть дети? Не уходите, умоляю вас, не уходите!

— Этим ты меня не проймешь, так и знай! Вот уже двадцать лет я честно делаю свое дело!.

— Потому я и позвал вас, понял, что вы честный и добрый человек!

— Чего тебе надобно, сказал же не отпру дверь и кончено!

— Воды! — с дрожью в голосе сказал Або. — Воды! — и такая мольба и мука звучала в его голосе, что тюремщику показалось, словно сама по себе приоткрылась тяжелая дверь камеры и первый луч взаимопонимания проскользнул в узкую щелку.

— Я задыхаюсь, неужели вы не верите в Аллаха! — Або все свои надежды возлагал на этот тоненький лу-

чик. Повисло молчание. У Або появилась надежда. Тюремщик раздумывал.

— Трое их у меня! — выдохнул наконец тюремщик.
— Потому и не несу тебе воду. Чем я буду их кормить, если меня выгонят? Неужто не понимаешь!

— Этого никто не узнает! — в отчаянье кричал ему вслед Або.

Но тюремщик не вернулся.

Когда стих шум шагов, томимый жаждой, изголодавшийся и избитый Або бросился на землю и, словно малое дитя, зарыдал в голос.

Если сегодня удастся ему испытать хоть глоток, нипочем ему будет завтрашняя встреча с амиром и Бабаком. Иначе он погибнет, словно выброшенная на берег рыбешка. Среди бела дня никто из тюремщиков не придет на его зов, именно сейчас, в этот вечер он должен как-то заставить принести ему воды. «Я отдам ему свои чувяки, — осенило вдруг его, но тут же он задумался, — а не совершаю ли я греха?.. Нет, ведь я только воздаю за труд», — нашел он себе оправдание и на этот раз смелее подошел к двери и со всей силой принялся колотить в нее. Тюремщик не заставил себя долго ждать, о его появлении возвестили отменная брань и самые отчаянные проклятия:

— Что за бес в тебя вселился? Ангел смерти не даст тебе уснуть? Спешешь отправиться в преисподнюю?

— Добрый человек, я подарю тебе чувяки! — с мольбой в голосе сказал Або. — Они прочные, красивые, из настоящей буйволиной кожи...

— Чувяки? — тюремщик задумался.

— Да, чувяки, они мягкие, словно пух, и прочные, словно камень...

Тюремщик отодвинул железный засов. Дверь разверзлась, как небеса, и на пороге со свечой в руке появился его избавитель. Свет слепил Або глаза, он стянул закованными руками с себя чувяки, и тюремщик тотчас выхватил их у него. Выхватил и захлопнул перед носом дверь. Обрадованный Або кричал ему вслед:

— Неси в кувшине, в кувшине...

Шум шагов затих. Або ждал, прильнув ухом к двери. Нестерпимо тянулись минуты, и он стал ходить по камере, считая шаги. Затем сел на землю. Затем снова встал, вновь приник ухом к двери и замер.

Раздались долгожданные шаги. Открылась дверь и тюремщик забросил в камеру чувяки:

— Я честный человек, и не могу изменить своему хозяину! — сказал он и в мгновение ока захлопнул дверь. Ошеломленный, Або не в силах был произнести ни слова, лишь стон отчаянья вырвался у него, и он рухнул без сил на землю. «Боже, упаси меня, грешного», — он встал и попросил у Господа прощения. Молитва вернула покой его душе, но не уняла жажды. Нашарил рукой чувяки, обулся, прислонился спиной к стене и погрузился во мрак.

Вдруг лязгнул замок, Або встал, позвякивая кандалами. «Кто это мог быть? Наверное, рассвело, и за мной пришли стражники». Но нет! Заскрипела железная дверь и на пороге со свечой в руке показался тюремщик.

— На, — сказал он и протянул Або кувшин, — пей сейчас, я должен унести его.

Словно безумный, бросился Або к воде. Он пил жадно, тараща глаза и захлебываясь. Уняв немного жажду, оторвался от кувшина и сказал тюремщику:

— Господь вознаградит тебя...

— Скорее, — зарычал тот, — отдай кувшин, увидят!

Або вновь прильнул к кувшину, наконец напился и вернул его.

— Добрый человек, скажи мне хотя бы свое имя, — попросил Або.

— Зачем оно тебе?

— Я хочу помолиться за тебя...

— Хосро Абу Юсуф.

— Ты араб?

— Нет.

— Грузин?

— Отец мой пришел сюда вместе с Мурваном Кру. По происхождению он был, кажется, перс. Дед говорил, что мы армянские персы.

— Я думал, ты араб и потому принес мне воду, — удивился Або.

— Если ты умрешь, мне будет еще хуже, начнут допытываться — почему умер, да как, да от чего, стражники всю душу вынут. Утром меня сменит другой, а там хоть помирай, хоть нет...

— Возьми эти чувяки...

— Не надо. На улице идет снег, ты замерзнешь бо-
сиком. Неужто думаешь, раз тюремщик, то и сердца у
меня нет?

Он зло хлопнул дверью и задвинул засов.

Хаджидж ибн аль-Бабак был вне себя от ярости и отдавал приказ то взять Иоанна под стражу, то умертвить на месте, то предать всенародной пытке, но никак не мог получить на это согласие амира. Амир смотрел дальше шуртадмтавари. Расправа над Иоанном могла принести дурные плоды. Ведь грузинский монах жертвовал собой ради арабского юноши. История халифата не помнила ничего подобного. Поступок Иоанна был столь же непонятен, как и страстное желание Або во что бы то ни стало быть христианином. Все это в общем не предвещало ничего хорошего.

Грузин жертвовал собой ради араба. И разве следовало арабам наказывать человека за то, что он жертвовал собой ради их соплеменника? Ох, как коварно сплелись в этой истории добро и зло! Амир никак не мог найти выхода. Но твердо знал лишь одно: если они отрубят голову Иоанну, народ объявит его святым. А этих святых боялся и сам халиф. Хаджидж ибн аль-Бабак убеждал его в том, чтобы втихомолку умертвить Иоанна, так, чтобы никто ничего не знал. Но амир не доверял Бабаку. Бабак сам же первым и донесет халифу — ваш новый амир поступает неблагоразумно, казнит ни в чем не повинных грузин и восстанавливает против вас жителей амирата.

Али Хасан настоятельно требовал, чтобы Або во что бы то ни стало вернули в мусульманство, а Иоанна пинком под зад выпроводили из темницы.

Когда амир сообщил о своем решении Бабаку, тот удивился: можно ли прощать строптивцу дерзкий поступок?

— Этот негодный монах не ставит ни в грош ни вас, ни меня, он замахнулся на могущество самого халифа! — злобствовал Бабак.

— Что поделаешь, мы сами виноваты в том, что произошло, — отвечал с угрозой в голосе Али Хасан, — а точнее — вы лично! И ваши люди!.. Этот злосчастный Або должен был исчезнуть с лица земли тотчас, как вам стало известно о том, что он принял христианство. А раз

дело зашло столь далеко, то теперь уже не время бить тревогу. Надобно действовать осмотрительно и с умом. Слушайте меня хорошенько, я говорю с вами от имени халифа. Не сегодня так завтра в Картли взовьются два пламени — Або и Иоанн. И оба должны быть погашены так, чтобы никто ничего не заметил. Иоанн должен быть возвращен в монастырь, Або — вернуться в свою веру. Действуйте!

Иного пути не было — Бабаку следовало смириться с судьбой, забыть свою былую славу и власть и стать верным и преданным рабом амира. Пусть только пройдет время, и он во что бы то ни стало возьмет свое. Нынче же ему не оставалось ничего иного, как самому отправиться в тюрьму выдворять Иоанна.

К вечеру к Иоанну ворвались стражники. Скрутили руки сидящему в углу старцу, крепко связали их, надели на голову черный колпак, выволокли из темницы, водрузили на его белого мула и пустили по дороге на Мцхета.

Бабак отдавал команды своим людям, даже не глядя на Иоанна. Он торопился. Этой ночью должна была свершиться воля амира — они должны прибыть во Мцхета к католикосу и вверить ему Иоанна. Это должно было на долгие времена запомниться грузинскому монашеству. Необходимо было раз и навсегда научить их уму-разуму. Бабак знал, что словами с Самоэлом не сладишь, его могли сломить лишь суровые угрозы и жестокая сила.

На место прибыли уже за полночь. Связали слуг, разбудили спящего католикоса, у него же на глазах обыскали церковь и покой, затем заткнули ему рот кляпом, как разбойнику, надели на руки кандалы и повели к владениям Гуарама. Там, в палатах, его оставили одного.

На рассвете к нему вошел Хаджидж ибн аль-Бабак. Увидя связанного католикоса, Бабак рассвирепел, сам, своими руками развязал повязку, стягивающую ему рот, и кандалы сам с него снял и во всеуслышание приказал избить провинившихся стражников.

Самоэл не верил своим ушам. Приказание было исполнено тотчас.

— Католикос неприкасаем! Вы не имели права свя-

зывать его! — отчитывал Бабак своих приспешников и грозил выгнать их со службы.

Самоэл был искренне уверен, что стражники само-вольно расправились с ним и от всей души благодарил Бабака за избавление.

Тот в свою очередь всячески винился перед католи-косом, не забыв припомнить и дела давно минувшие, — сказал, что в разорении Джвари был повинен амир Саид, а никак не он. Таким добрым и ласковым Бабака давно видеть никому не доводилось, наверное, образу-мился, решил Самоэл.

В назначенное время вошли мамасахлиси мцхетский Гуарам и Иоанн Сабанисдзе. Руки Иоанна были развя-заны. При виде католикоса Иоанн приветствовал его и поцеловал ему руку.

— Простите меня, святой отец! — обратился к като-ликосу Бабак и доверительно сообщил: — В последний раз предупреждаю вас, жителей Мцхета и всей Картли. В Багдад поступают донесения о том, что эристави Ашот связан с Мцхета, в частности с его духовенством, тайным союзом. И если это подтвердится, знайте, месть халифа будет жестокой.

«Господи, хоть бы этот союз был правдой!» — по-думал Самоэл и посмотрел на Иоанна. Тот собирался было что-то сказать, но Бабак опередил его.

— Если грузины не смирятся, знайте, новый халиф осуществит свой план. Он хочет согнать грузин с их зе-мель и поселить их в персидской пустыне, — Бабак го-ворил взволнованно и, казалось, с сочувствием.

— Повелитель! — окликнул Иоанн собравшегося уходить Бабака. — Я прошу взять меня под стражу, не-ужели это есть неповиновение?

— Да, именно неповиновение. Або сарацин, и вас никто не просит защищать его, — он обернулся лишь на миг, видно было, что торопится.

— Владыка! — на этот раз его остановил Самоэл. — Не забывайте, что Або мой пастырь, и грузинская цер-ковь велит защищать его.

— Я все сказал, даже то, что не имел права говорить, и если вы не проявите благоразумие, грузинская церковь завтра же исчезнет с лица земли.

Хаджидж ибн аль-Бабак твердым шагом вышел вон. Вскоре все палаты заполнили стражники.



Обессиленный после тяжелых дневных пыток Або постепенно приходил в себя. И чем больше проявлялось сознание, тем нестерпимее становилась боль. Не хотелось возвращаться в явь, там, в черной пустоте, было лучше, но боль отрезвляла и не позволяла забыться. «Что же у меня болит?» — попытался разобраться он и окончательно пришел в себя. Болело все тело. «Меня били, а может, растерзали на части». — Он пошевелил рукой, и... вспомнил... Вспомнил ту страшную пытку и вновь потерял сознание.

Долго лежал без сил, казалось, даже не дышал. Затем он вновь слегка пошевелился, у него вырвался тяжелый, душераздирающий, но тихий и немощный стон. Как странно — боль умерщвляет человека, и боль возвращает его к жизни.

С самого утра к кому только ни водили его на допросы, даже у кадия он побывал. Все расспрашивали его об Иоанне, где он встретился с ним впервые, как это произошло и что было потом?..

Но когда стало совершенно очевидно, что он не станет лгать, один из палачей сказал — признайся, мол, что Иоанн совратил тебя, и останешься цел и невредим.

— Господь не позволяет нам лгать, — ответил Або.

— Если ты боишься за своего учителя, свали все на Нерсе, ведь Нерсе мертв!..

— Помоги нам, Або, — просили его, — знай, будешь упрямым, не миновать тебе смерти!.. Будь же благоразумен, так будет лучше и тебе, и нам. Не хочешь опять быть мусульманином, пожалуйста, признайся хотя бы в том, что тебя соблазнили. Признаешься, тотчас божий свет увидишь...

— Но меня не соблазняли. Сам Господь указал мне сей праведный путь.

Вот и все. Господь свидетель, кроме этого, Або не произнес ни слова. Рассвирепели, заскрежетали зубами стражники, грозили кулаками, забегали взад вперед... Притащили цепи, кандалы, молотки, гвозди, иглы... «Что они собираются делать со мной?» — думал Або, оглядывая все это недоуменным взглядом.

Его сковали цепями и кандалами так, что дышать стало невозможно. Затем окольцевали скованные руки и

ноги железными обручами, перетянули цепями тело и, словно бревно, положили на землю. Освободив из-под цепей кисти рук, палачи всей тяжестью навалились на него и стали вбивать под ногти огромные иглы... Когда они взялись за пальцы ног, Або уже ничего не чувствовал — он провалился в бездну.

«Нежная пытка» была детищем Али Хасана — узника надо было пытать так, чтобы не оставлять на теле никаких следов. Новый амир не позволял вырывать клещами у узников куски мяса, как это было до недавнего времени.

Он считал, что вливать человеку в рот кипящее масло и надевать на голову железный обруч гораздо более снисходительно, чем выкалывать глаза и ломать суставы.

Або узнал об этом у стражников, которые насмеялись над нововведениями амира и предпочитали работать по старинке — это было проще.

«Почему они так ожесточились?» — думал Або. Но боль не позволяла ему сосредоточиться. «Может, они не вытащили иглы...» Эта мысль ужаснула его. Он медленно поднял руку и коснулся ею ногтей на другой руке. «Нет... — он обрадовался. — Наверное, скоро боль пройдет. Что же меня ждет завтра?» То, что он подумал об этом, было отрядным знаком. «Не унялась ли боль?» Прислушался к себе, оказалось, что она немного утихла, но страх боли остался. Надо прогнать этот страх. Страх усиливал боль.

Попытался сесть. Оперся на локоть и сел. О том, чтобы встать, не приходилось и думать. «Который час? В своей ли я темнице?» Он сложил руки на коленях и погрузился во мрак... Но боль не позволяла предаться мыслям, не давала забыться. Тссс! Что это? Послышался шорох. «Карич Каричисдзе!» — Або взгляделся в темноту. «Показалось...» Або вновь прислушался и вздрогнул. «Кто-то стоит в углу...» Его охватил страх. Интересно, чего он боится? Кто мог быть страшнее стражников и тюремщиков?! Або даже улыбнулся.

«Кто ты?» — прошептал Або в темноту. В ответ раздался шорох, и вновь все смолкло.

Так же вел себя Карич Каричисдзе. Он долго прислушивался, надеясь, что Карич Каричисдзе наконец покажется, но тщетно... «Неужто здесь никого нет?» Або

сидел, уставившись в угол и прислушиваясь. Таинственный шорох заставил его позабыть о боли. Оказывается, ожидание предстоящей пытки страшнее, чем боль от уже испытанной. «Наверное, ко мне прислали какое-то чудовище», — решил Або, всматриваясь в смутную тень в углу. «От них всего следует ожидать... Они лишили меня даже рук, чтобы я не мог бороться с ними, превратили в какой-то обрубок и вот теперь ждут, когда это чудовище сожрет меня». Або уже мерещилась открытая пасть чудовища... Он все глубже погружался в бред... И вот в мгновение ока примчал своего белого скакуна святой рыцарь. Сердце Або наполнилось любовью. С надеждой взирал он на небесного всадника. Обнажил всадник свой острый меч и поразил страшное чудовище. «Сам святой Георгий явился мне», — думал Або, и гордость переполняла его сердце. Раз ему явился святой, значит не напрасны его мучения, значит не пропадут они втуне, значит это знамение того, что услышаны на небесах его молитвы... «Шррр» — вновь раздался из угла таинственный шорох, и Або очнулся. «Кто ты?» — в страхе у Або вырвался отчаянный рык, и какая-то сила подняла его с земли.

Он не мог сложить пальцы для крестного знамения, но все-таки сумел поднять правую, закованную в кандалы руку, затем левую и перекрестился. Он трижды перекрестился и трижды повторил: «Во имя Отца и Сына и Святого духа...» Нечистая сила должна была испугаться молитвы и убежать.

Шорох и вправду стих.

Вновь привиделся Або святой Георгий, скакун его встал на дыбы и заржал, он замахнулся на оборотня своим разящим копьём, но тот, громко хохоча, убежал вместе с застрывшим в его боку копьём.

Або в страхе очнулся и вновь оказался в своей черной камере. Все еще слышался ему смех оборотня.. Або тряхнул головой, прогоняя наваждение, и огляделся по сторонам.

Шорох раздался совсем близко, и живое существо пробежало по его босым ногам. «Крыса! Ха-ха, оказывается, он боялся крысы». Або улыбнулся. Разве могла крыса жить в этом аду? Интересно, какая она? Может это черт принял крысиное обличье? Ведь даже крыс

не сможет жить в такой холодной и пустой темнице. Вновь овладели им сомнения.

Он думал о том миге, когда крыса пробегала по его босым ногам, и в это время что-то свалилось ему на голову. Он вскочил, даже не чувствуя боли. Что это? Страх совершенно сковал его. Нашествие крыс?! Думал было поднять крик, но понял — крыс к нему загнали специально, — и успокоился. Он боялся Бога, а не человека. Он не хотел губить свою душу, лишь о ее спасении заботился, плоть его не заботила уже давно. «Так вас прислали тюремщики! Ну что ж, пожалуйста, пожалуйста». Вновь сел, стал прислушиваться, ожидая появления крыс. «Искусают меня, заболею, отдам душу Богу и успокоюсь», — думал Або. Но случилось невероятное — крысы повернули назад и скрылись в своих норах.

Всю ночь провел он в борьбе с ними. Но как только опустились у него руки, как только отдал он себя на следение, скрылись крысы. «Они голоса испугались, — решил Або, — вот стал я разговаривать с темнотой, они и убежали... Они искали труп, думали, что я уже умер».

Кромешная темь сменилась сумерками. Он прочитал утреннюю молитву, и в это время за дверью послышались шаги. Это пришли за ним.

Его схватили за руки и поволокли по длинному коридору.

По этому коридору его еще не водили на допрос. Впереди шел тюремщик, по бокам — два копьеносца, еще двое позади. Пятеро стражников сопровождали одного по рукам и ногам скованного и изувеченного пытками узника. Все свои силы устремил Або на то, чтобы уберечься от идущих по пятам стражников. К тому же его интересовала судьба Хосро Абу Юсуфа — почему он не пришел к нему сегодня утром. Он попытался спросить о нем у тюремщика, но тот молчал, словно воды в рот набрал. Або надеялся сегодня попросить Абу Юсуфа об одной услуге, думал, что он человек богобоязненный и не откажет ему.

— Вы знаете Хосро Абу Юсуфа? Вы не можете его не знать. Почему он не пришел сегодня? Ну не молчите же!

Но тюремщик безмолствовал.

В конце коридора, у железной клетки они остано-

вились. Тюремщик открыл дверь, сделал Або знак войти в нее. Юноша растерянно огляделся по сторонам... Стражники подтолкнули его... Тюремщик запер за Або дверь клетки и ушел. За ним последовали и стражники. Або остался один. Сел на камень, вытянул изувеченные ноги. Раны горели, хотя прошел он и не так много.

Откуда-то слышался шум. Открылась другая дверь клетки, и стражники втолкнули кого-то за перегородку из железных прутьев. «Отец! — вдруг вырвалось у Або. — Отец!» — юноша бросился к прутьям. «Або, сын мой! — воскликнул несчастный старик и прикинул к решетке. — Это ты! Как ты изменился! Как возмужал!» — подбородок у старика дрожал, он еле выговаривал слова.

— Отец, отец! — кричал Або, ища в прутьях отверстие пошире. Радость и глубокая скорбь переполнили его.

— Почему ты ступаешь на пятки? И руки у тебя болят? Что они сделали с тобой?

— Это ничего, пройдет. — Або оглядел свои руки и ноги. — Как вы живете, отец? Как там мама, как братья, сестры?

— Эх, сыночек, разве то существование, что мы влачим, можно назвать жизнью?! Думал, хоть одного сына вывел я на дорогу, не будет он нуждаться в еде, питье и крыше над головой, — что еще нужно человеку! Думал, повидает белый свет, выйдет в люди. Что ты натворил, сын мой, что ты натворил! Себя не жалеешь, о нас бы подумал! — отец поднял руки в кандалах.

— Они не имеют права! — вскричал Або. — Ты тюремщик халифа! Они не могут взять тебя под стражу без его разрешения!

— У них на все есть право! Мой несчастный сын, ты погубил себя!.. Ты еще не знаешь всех постигших нас горестей. Твоя мать, твои сестры и братья, наверное, уже брошены в темницу... Тебя же ждет смерть! Горе мне, горе! Какая участь постигнет мою несчастную семью!

— Не бойся, отец, смерть — это ничто, — перебил его вдруг Або.

— Говоришь, смерть — ничто! Может, мне послышалось, сын? О, Аллах, смерть — ничто! Откуда ты зна-

ешь, что такое смерть? Спроси об этом меня. Собачья жизнь лучше царской смерти, и лучше один-единственный миг лицезреть мир, чем век спать мертвым сном. Будь разумен, сын мой, как бы тебя не обманули, как бы не сбили с пути истинного. У тебя дурные советчики, сын мой, не слушай никого, не губи себя и нас. Скажи стражникам, что ты раскаиваешься, что нашим богом был и остается Аллах!

Або бессильно опустил на землю и сел, свесив голову. В глубине души он ждал этой встречи... Что же ему сказать, как успокоить отца? Отступить?.. Все сильнее звучал в нем голос, призывающий к этому! Чей это был голос? Мать ли звала его? Или его собственное сердце? А может, это младшие братья и сестры молили его?.. И отец, казалось, был не рядом, в этой отвратительной клетке, а следил за ним издалека, из самого Багдада. Дрогнуло его сердце. Словно не он один, а весь мир изменился в единый миг. Ведь отец не сказал ему ничего особенного. Нет, не словами поколебал он его, силе любви не сумел противиться юноша, сила любви встала на его пути, и он на мгновение усомнился в правильности выбора.

— Або, Або, — послышался ему голос отца, — почему ты молчишь, скажи что-нибудь! Твоих слов ждет весь Багдад, и если не покинул тебя вовсе разум, скажи, что веруешь в Аллаха, и дверь тотчас откроется. Тебя выпустят тотчас, и мы вместе уедем домой! Знаешь, чего стоило повидать тебя, я был у самого амира, кинулся ему в ноги, просил, умолял позволить свидеться с тобой...

Отец в нетерпении ждал ответа, вцепившись пальцами в железные прутья и прильнув к ним лицом.

— Ты был у амира, целовал ему ноги... — прошептал Або.

— Да, меня забрали из Багдада, я даже не знал о том, что ты в заточении, сказали, юноша отрекся от своей веры, ты — отец, и наставь его на путь истинный. А приехал сюда, и на меня надели кандалы. Я, говорю, тюремщик самого халифа, вы не имеете права. Потому, мол, и надо посадить тебя в темницу, что тюремщик халифа вырастил сына-изменника. А потом бросили меня в яму для смертников. Я стал кричать, покажите мне моего сына, я сам своей рукой перережу

ему горло!.. Пришли какие-то люди и отвели меня к амиру. Амир отдал твою судьбу в мои руки, я смог умолить его...

Або вспомнился родной дом, представились лица матери, сестер, братьев, но искушение быстро покинуло его, и он попросил у Господа прощения за минутную слабость и сомнение, и в знак отказа молча покачал головой.

— Не пойдешь? Ты не соскучился по родному дому? А как же мать? Как же сестры, братья?..

Або молча потупил глаза.

— Каждую ночь ты снишься твоей матери! Ну скажи же что-нибудь! Неужто вовсе окаменело твое сердце! Або, сын, говори, меня уведят, Або...

Вошедшие в клетку стражники схватили старика под мышки и поволокли. Або со страшной болью смотрел вслед отцу. Еще миг, и отец навсегда скроется с его глаз, навсегда порвется и без того тоненькая ниточка, связывающая его с родным гнездом, с домом, с матерью, с братьями, сестрами, родственниками, знакомыми и друзьями. Отец, казалось, принес с собой материнскую ласку, но теперь уносил ее уже навсегда...

— Отец! — вскричал он в последний миг. — Я очень люблю всех вас! Не окаменело мое сердце! — Або не мог ухватиться искалеченными пальцами за прутья решетки, он льнул к ней лицом и грудью и горько, в голос, как маленький ребенок, плакал...

НОЧЬ ПЯТАЯ. МЕРТВЕЦ.

В полночь стражники подняли Або и велели обуться. «Я не могу обуться, — отвечал Або, — ноги болят, хоть убейте». Они перекинули его чужаки через плечо и повели по темному коридору. Когда вышли на воздух и ступни Або коснулись хрустящего снега, он подумал: «Наверное, меня ведут на смерть». Ступать становилось все труднее, он едва передвигал ноги, казалось, что на каждой висит огромная, тяжелая глыба. «Вот здесь, на краю этой поляны меня убьют...»

Стражники подтолкнули его в спину. Он пошатнулся и упал. Хрупкая, тонкая наледь покрывала землю. Вставать не хотелось. Не хотелось думать о смерти, но мысли о ней не покидали его.

Стало невыносимо холодно. Он поднялся кое-как. Дрожь пробирала его. От чего он дрожал — от страха или от стужи? Сам не мог понять этого. Ноги совсем за-
коченели. По льду ступать было гораздо тяжелее, чем по земле. Поскорее бы прийти... Стражники вдруг остановились и стали что-то искать на земле.

«В пятую, в пятую...» — окликали они друг друга. Або ничего не понимал, он просто ждал, что вот сейчас его пронзят копьем или отсекут голову. Он слышал слова стражников, но даже не пытался понять, что же такое эта «пятая».

Две тени отделились, подошли к Або и повели куда-то. «Конец», — подумал он, открыто перекрестился и произнес имя Господа. «Один... Два... Три...» — кричали стражники, схватили Або и, словно куль, швырнули куда-то в пропасть. «Наконец-то пришла смерть», — подумал он. И лишь когда пронзила его страшная боль от того, что коснулись ступни чего-то твердого, понял, что его бросили в яму смертников, и застонал от боли. Такие ямы он видел в Багдаде, в поле за тюрьмой своего отца.

«Не такая уж она глубокая, летел я совсем недолго». Он стал шарить ладонями по стене. Яма расширялась снизу вверх. Откуда-то доносился страшный грохот. Або стал ощупывать ступнями землю. Падая, он ударился о что-то и его пронзила такая боль, что он закричал. Сейчас немного пришел в себя и захотелось узнать, что же лежит там, на дне. Что это может быть? Теплое... В одежде... Неужели человек? .. Або осторожно наклонился, желая коснуться его руками. И вправду человек. Або закричал от страха. Никто не ответил. Кто это мог быть? Наверное, мертвец.

В этот вечер он умирал дважды. Впервые тогда, когда ступил на рассыпчатый снег и подумал о том, что его ведут на смерть, во второй раз, — когда обнаружил в яме труп. Он собрался с силами, нагнулся и провел по трупу рукой. Он был закованный, словно камень. Когда он провел ладонью по лицу, сердце, казалось, забилось сильнее, подсказывая ему что-то, но обессиленный, он не прислушался к нему.

Он дрожал от холода. Особенно замерзли ступни. Когда стражники бросали его в яму, чувяки висели у него на плече. Значит, они где-то здесь, валяются на

земле рядом с этим окоченевшим трупом. И теперь, раз уж ему не отрубили голову, надо собраться с силами и бороться с холодом, надо во что бы то ни стало отыскать чуваки и попытаться их надеть. Або нашарил их, но первая же попытка обуться кончилась тем, что не выдержав ужасающей боли, он упал без сил на землю. Придя в себя, он отполз от трупа и, прижавшись к холодной земле, съежился клубком. Но трупный запах все равно не покидал его, и все равно он касался трупа. Он встал с тяжелым стоном, но, пронзенный печеловеческой болью, снова упал. «Всевышний, неужто тобой ниспосланы эти пытки Адамову племени!» — воззвал он к Господу, но тотчас одумался и прикрыл рот ладонью. Не пристало смертному упрекать Всевышнего. Надо молча сносить выпавшие муки. Наверное, искупают грехи предков. Сам он невинен, как агнец, и кроме жажды жизни, не было у него на душе греха. А жизнь была Божьей благодатью. И раз Господь сотворил на земле жизнь, то и жажду жизни нельзя назвать грехом, значит, какие-то другие грехи повелевает ему искупать Господь. Эти мысли принесли ему облегчение, вернули силы.

«Этот труп здесь лежит не зря», — внезапно подумал он. Ведь на нем надета одежда, надо хотя бы согреть ноги. Перекрестился, подумал о том, не совершит ли греха, не потревожит ли душу усопшего, затем осторожно подполз к трупу, спрятал под его платье вспухшие ступни, затем осторожно укрыл голени. Немного передохнул, нашарил руками подол одежды мертвеца, натянул на себя повыше, затем свернулся клубком, взял подол в зубы, потянул на себя и ухитрился залезть под полу целиком. Нашел свои чуваки, положил под голову...

Однако сердце его вновь странно съежилось, жуткое предчувствие родилось в нем. «Отец», — вдруг возникло это слово. «Меня бросили в яму смертников», — прозвучал голос отца и... он тотчас вылез из-под одежды мертвеца. «Отец! — овладело им подозрение. — Это и вправду отец». В отчаянье заметался Або из стороны в сторону и припал к окоченевшему телу: «Это я убил тебя, отец, я, прости меня, прости, мой бедный, мой несчастный отец, прости...» — кричал он в отчаянье. Долго плакал Або. Затем вновь ощупал труп. Нет, это не отец, отец был выше ростом... Правда, он сказал, что

его бросили в яму смертников, но раз он сказал ему это, значит, он уже побывал в той яме, и во второй раз его вряд ли бы в нее посадили, наверное, его отравили. Обратно в Багдад, они бы не решились столь уничтожительно вести себя с тюремщиком самого халифа. Но жуткие мысли все же не покидали его, а слезы текли по-прежнему.

Он не мог заставить себя поверить в то, что отца убили из-за него и что целую ночь провел он лежа рядом с его трупом. «Нет! — кричал он в темноту, — Господь не допустил бы этого!» Долго еще мучили его страшные мысли и тяжелые сомнения... Долго еще он плакал, долго еще разговаривал вслух с лежащим перед ним трупом... Наконец силы покинули его, а сердце билось все сильнее и громче, и в изнеможении упал он на труп. Кто знает, сколько времени лежал он так, пока его, потерявшего сознание, не подняли из ямы и не потащили неизвестно куда... Когда он очнулся, рядом с ним пылал огонь, а лекарь растирал ему грудь и вливал в рот теплую чесночную воду.

ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ.

На Новый год в Картли выдались ясные и погожие дни. Правда, в Рождество выпал снег, но под Новый год растаял и лежал только на горах. Ночи стояли морозные, а днем солнце прогревало воздух.

Иоанн каждое утро выводил свою больную овцу на свежий воздух и пас ее на окрестных склонах. Монахи содержали монастырский скот на свободном выпасе. На хромую овцу Иоанна возлагалась особая задача. Делая вид, что пасет овцу, Иоанн постепенно спускался к самому берегу Куры.

Когда Хаджидж ибн аль-Бабак доставил извлеченного из темницы Иоанна в Мцхета и с угрозами сдал его католикосу и мамасахлиси, Иоанн подумал в душе: ничего, завтра поеду в Тбилиси, пойду к амиру, пусть он сам меня арестовывает.

На следующее утро он действительно оседлал своего мула и приготовился было отправиться в путь, но ему не позволили даже шагу ступить за ограду монастыря. Дорогу преградили вооруженные стражники и передали приказ Бабака: верховный повелитель Карт-

ли амир, кадий и шуртадмтавари запрещают Иоанну покидать пределы монастыря.

Потому-то и выводил он свою хроую овцу на свежий воздух и выгуливал. Стражники не запрещали монаху пасти овцу. Ну какие подозрения мог вызвать монах, пасущий овцу! Поначалу, правда, они следили за ним, потом махнули рукой и занялись своим делом. Иоанн пользовался этим и уходил все дальше, надеясь встретить кого-нибудь и разузнать новости из Тбилиси.

В один из таких дней он спустился во Мцхета и дошел до обители католикоса. Но встретиться с ним ему так и не удалось. Оказывается, и католикосу запрещалось покидать пределы своих владений. Иоанну было над чем задуматься. Оставалась одна-единственная надежда, что Микаэл вспомнит отца и приедет повидаться с ним.

Уже пять дней минуло с тех пор, как забрали Або. Кому же, как не Иоанну было поинтересоваться его судьбой? Эристави Нерсе, хозяин Або, лежал в земле. От Ашота и Григола тоже не было никаких вестей... Глава грузинских христиан находился в заточении в своей обители. А Степаноз даже слышать не хотел об Або. Раз они пошли на такие строгие меры и даже католикоса держали в заточении, то судьба Або была решена — смерти ему не избежать. И как же сейчас нуждался юноша в поддержке духовного наставника! Иоанн не сомневался в твердости юноши, но в час столь тяжелых испытаний человек особенно нуждается в поддержке и совете.

Хоть бы удалось послать весточку сыну и призвать его. Но этого не потребовалось. Степаноз сам лично послал Микаэла навестить отца.

Иоанн еще издали узнал поднимающегося по склону сына, замахал ему и окликнул. Микаэл заметил отца и направился к нему. Хорошо, что они встретились с сыном здесь, в открытом поле, ему легче будет заметить своих охранников.

Микаэл свернул с дороги, напрямую пересек склон, в одно мгновение преодолел крутой подъем и, тяжело дыша, с волнением стал рассказывать отцу о тбилисских новостях:

— Вчера прибыло две тысячи воинов из Багдада... Пятьсот из них мы направили в Мцхета, полторы ты-

сячи разместили среди тбилисцев... На каждого жителя по одному воину-мусульманину, кое-где были вынуждены поселить и по два. Люди ропшут, волнуются, не хотят пускать их в дом. Предпочитают платить дань. А в тех домах, где есть молодые девушки, люди готовы сорваться с насиженных мест. Эрисмтавари в тревоге. Народ, оказываясь, требует наказания тех, кто своей непокорностью ополчает халифат против грузин.

Иоанн присел на камень, предложил сесть и сыну.

— Садись, Микаэл, отдохни, переведи дух...

— Эрисмтавари просил передать, чтобы вы были начеку, — сказал, садясь, Микаэл и торопливо продолжал: — Он просил передать это тебе и католикосу. А еще поговаривают, что эристави Ашот собирается вступить в союз с греческим царем и готовится в поход на Картли. Это стало известно халифу. Ашоту не избежать смерти, мне по секрету сказал Степаноз.

— А что с Або? — прервал Микаэла Иоанн.

— Ничего, — холодно бросил Микаэл, — я ведь сказал, что из-за этого Або прислали две тысячи воинов!

— Ты его больше не видел?..

— Нет.

— Ты ведь имеешь право войти в темницу?

— Сейчас, отец, никто не имеет права видеть Або.

Пройти мне к нему — это значит погибнуть...

— Эх, Микаэл, сынок, очерствела душа твоя, не приемлет истину... Не веришь ты в Господа нашего Иисуса Христа, иначе не свернул бы ты с пути истинного.

— Отец! — вскрикнул Микаэл, упал на колени, обнял ноги старика и осенил себя крестным знаменем. — Смилуйся, отец... я верю, и Господь простит меня!..

Словно из-под земли возник стражник. Он был совсем еще юн. Чувствовалось, что он бежал, щеки покраснелись, он часто и тяжело дышал.

— Я... не имею права не подойти к вам, за мной тоже следят... — он посмотрел в сторону поля. Там и вправду кто-то стоял. Иоанн и Микаэл переглянулись.

— Вот видишь?.. — сказал Иоанн сыну. — Не лучше ли было сидеть в тюрьме?.. Ты думаешь, что в этом монастыре можно жить свободно? Коней увели, а все вокруг наводнили лазутчиками и стражниками. Все истинные братья, те, кому удалось избежать застенков

амира, уже не вернулись сюда, кто нашел убежище в Гареджи, кто в Мгвиме! Крестовый монастырь разгромлен, только стены стоят на горе.

— Слава Богу, ты сам это говоришь! Против силы не устоишь, — Микаэл украдкой посмотрел на стражника и, понизив голос, продолжил: — Если мы желаем истинного добра для Картли, нужно покориться этой силе, клянусь Господом Богом и тобой. Я глубоко верю в это и только в этом вижу спасение. Грузию может спасти лишь смирение. Для того, что вы задумали, нужно время. Сегодня без халифата не продержаться и дня. Нас покорят или греки, или римляне, или хазары. Халифат — непреодолимая сила, надо использовать эту силу и сохранить для потомков нашу родину.

— Твоими устами говорит Степаноз! — прервал Микаэла Иоанн. — Послушай, я твой отец и должен сказать тебе: только безнравственные люди могут мириться с нашим нынешним положением. Они идут на всякую низость, чтобы оправдать свою трусость, рабское существование они оправдывают покровительством, которое мы якобы имеем, разорение и разбой называют братством и дружбой, угнетение и пытки — мирной жизнью... Я прекрасно знаю, сын мой, что ты чист, как горный родник. Причина твоей безнравственности в твоей добродетели, — в любви к эрисмтавари. Эта любовь совращает тебя с пути истинного. Не сегодня, так завтра, сын мой, ты ступишь на верный путь, меня беспокоит только, как бы это не произошло слишком поздно...

Отец говорил с ним так откровенно, что Микаэл не смел посмотреть ему в глаза. Он сидел, низко склоня голову и упершись взглядом в землю. Долго молчали отец с сыном, очень долго, и молчание это было красноречивей многих слов.

Неподалеку все еще расхаживал стражник.

Микаэл неожиданно встал и помчался вниз по склону.

НОЧЬ ШЕСТАЯ.

Когда Або вошел в темницу, он услышал чье-то покашливание. Затем звякнули кандалы.

— Салам алейкум... — из темноты послышался хриплый бас.

Голос показался знакомым.

— Кто ты? — спросил он по-грузински.

— Хосро Абу Юсуф, — ответила ему темнота.

— Хосро Абу Юсуф? Тюремщик?..

— Да... — ответил он.

— Ничего не понимаю... — пробормотал Або.

— Бросили меня сюда... Помнишь, я принес тебе воды ночью? Оказывается, за мной следил охранник. Меня схватили и заковали. Я тебе прямо скажу... — в голосе Хосро Абу Юсуфа послышались угрожающие нотки, но гнев его был адресован не Або, а кому-то другому, неизвестному человеку. — Меня в свое время звали «грозой тюрьмы, лютым волком». Даже самый страшный узник становился у меня шелковым, я укрощал тех, кто мог грызть железо, ломал людей крепких, как камень. Я сам отказался от своего ремесла. Предпочел быть простым тюремщиком. Сейчас, поскольку я провинился, меня вынудили вспомнить прежнее ремесло — заковали в цепи и посадили к тебе. Мне поручено влезть тебе в душу и во что бы то ни стало вернуть тебя в истинную веру. В молодости у меня это хорошо получалось, но теперь я не желаю делать зло. Хватит с меня того, что я уже натворил. Неправедных и наш Бог не любит. Я ведь только воды тебе принес, ничего дурного не сделал, не согрешил ни перед Богом, ни перед людьми. И за это наказывать! Я уже не буду делать того, что делал... И не потому, что ты мне нравишься. Нет, я ненавижу тебя, из-за тебя все мои беды, с удовольствием придушил бы тебя собственными руками. Но что-то сердце не велит. Наверное, старость подкралась...

Внезапно лязгнул засов, открылась дверь в стене, у которой сидели Хосро Абу Юсуф и Або, ворвались в темницу палачи и стражники. Тюремщики держали в руках факелы, палачи — плетки и палки.

Хосро Абу Юсуф даже привстать не успел, палачи бросились на него, повалили, сорвали одежды и стали избивать плетьюми и батогами.

Або оттащили в угол. На него навалилось столько людей, что он ничего не видел, только слышал свист плетей, стоны и ругань Хосро Абу Юсуфа. Все происходило с такой головокружительной быстротой, что Або растерялся и опешил. Он не мог понять, почему в тем-

нице оказался сам тюремщик, закованный в цепи, почему его так жестоко избивали, и что ему вообще здесь было нужно.

— Держись, брат! Не бойся, Бог все видит! — крикнул Або, желая хоть словом поддержать Хосро Абу Юсуфа.

Стражники в ответ пнули его ногой в живот и отбросили к стене. С трудом поднялся он на ноги и посмотрел туда, где били Абу Юсуфа.

Те, кто бил его палками, устали, отошли в сторону и оставили голое тело узника тем, кто орудовал плетью. Так, по очереди сменяли они друг друга, пот градом капался по их лицам.

«Главный палач!» — пронесся шепот.

На лестнице действительно показался изысканно одетый человек, ничего в его обличье не было от палача, только глаза метали злые искры и светились недобрым огнем.

Он ступил в темницу, остановился, огляделся. Палачи и стражники вытянулись стрункой, расступившись перед лежащим на полу узником.

Хосро Абу Юсуф приподнял голову, удивленно огляделся, не понимая, почему его не бьют, увидел главного палача и заскрежетал зубами:

— Ааа, пришел, кровопийца?.. — Затем, собравшись с силами, еще раз приподнял голову и прохрипел: — Я уже истек кровью, что же ты будешь пить?..

— Ничего, мы еще выпустим, — спокойно произнес главный палач, огляделся по сторонам и бросил одно-единственное слово: «Молот!» Затем повернулся к стражникам и весело сказал:

— С ним батогами не справиться, живуч, как собака, — палач рассмеялся своей шутке и обошел вокруг жертву.

Затем ему принесли молот, и он тотчас ударил лежащего по голове. Никто не сомневался, что Хосро Абу Юсуф тотчас испустит дух. И действительно, послышался душераздирающий треск и из его головы фонтаном брызнула кровь. Палачам эта картина была хорошо знакома: мастер проделал все безошибочно. Никто не шелохнулся, никто не произнес ни звука, палач стоял в стороне, гордо и торжественно взирая на свою жертву.

В эту минуту окровавленная голова Хосро Абу Юсу-

фа шелохнулась. В ту же секунду палачи стали бить его по голове палками. Они с такой яростью набросились на Хосро Абу Юсуфа, словно перед ними была змея, которую можно убить только размозжив ей голову.

Как только главный палач ударил Хосро Абу Юсуфа по голове, у Або потемнело в глазах, он вырвался из рук стражников и бросился к Хосро, но его быстро связали, всунули ему в рот кляп и бросили наземь.

Або с все возрастающим ужасом смотрел на это жуткое зрелище.

«Убили...» — подумал он.

«Прикончили», — надеялись палачи, переводя дух, но несчастный начинал корчиться, и они вновь набрасывались на него и колотили с новой силой.

Наконец палачи остановились, смолкли их возгласы, стихли хриплое дыхание и скрежет зубов. Они погасили факелы, прикрыли за собой дверь, задвинули засовы и удалились, оставив в темнице лежащего на земле, связанного по рукам и ногам, с кляпом во рту Або и плавающего в луже крови покойника.

НОЧЬ СЕДЬМАЯ.

Утром труп унесли, темницу отмыли от крови, освободили Або от веревок, вытащили кляп изо рта и повели к кадию.

Кадий беседовал с Або один.

После долгих объяснений кадий подозвал охрану и приказал надеть Або цепи и на шею. В ту же секунду исполнили приказание. Закованного с ног до головы Або снова бросили в темницу. Або не удивили ни гнев кадия, ни то, что ему надели цепи и на шею. Его удивляло то, что его до сих пор не убили. «Что же они готовят?» Обессиленный, он не способен был даже думать, целыми днями лежал, не шелохнувшись, даже не поднимал головы, когда его окликал стражник, все ждал, когда его схватят и вытолкают из темницы.

На седьмую ночь этого не произошло. Лишь осторожно приоткрылась дверь, и в темницу кто-то вошел. Або не поднял головы.

Шаги показались ему незнакомыми, — видимо, это был не стражник. Никто его не схватил, лишь осторожно прикоснулся к спине и окликнул:

— Або!

В удивлении юноша приподнял голову. Оказывается, пожаловал сам начальник стражи. Он стоял над ним со светильником в руке.

— Пошли, у нас к тебе дело! — сказал он шепотом.

У Або сильно забилося сердце. Трудно было поверить, что начальник стражи в полночь сам пришел к узнику, по-человечески разбудил его и просит пойти с ним. Какое у него может быть дело к Або?.. Да еще тайное! «Наверное, пришла пора мне все-таки проститься с жизнью», — подумал Або и, гремя цепями, последовал за начальником стражи. Удивляло то, что его не сопровождали ни охранник, ни палач. Або шел не оглядываясь, еле волоча ноги, он так обессилел, что ему было трудно тащить кандалы, но собрав последние силы, с трудом передвигая опухшие ноги, все-таки шел.

Начальник стражи остановился, взял Або за руку, спустил его в подземелье, затем зажег светильник, и они прошли в потайную комнату. Там горели свечи и было тепло.

— Микаэл! — воскликнул Або, у него от радости загорелись глаза.

— Тихо! — предупредил начальник стражи.

Микаэл не узнал Або — перед ним стоял живой труп. «Одни глаза остались», — подумал Микаэл и отвел взгляд от опухших, потрескавшихся и гноящихся ног Або, даже не посмел протянуть ему руку. Растерянно смотрел он на Або, не произнося ни слова. Ему было стыдно, он почувствовал себя виноватым.

Начальник стражи тихо вышел через потайную дверь и оставил юношей наедине.

Або удивился еще больше, сам подошел к Микаэлу и тихо спросил:

— Что это все значит?

— Взятка даже в аду всеильна, — прошептал Микаэл. — Я мог прийти в открытую, но стражники донесли бы. Сейчас о нашей встрече никто не узнает, говори быстрее, что тебе нужно. Отец мой и католикос сидят дома под охраной, они ничем не могут тебе помочь, но если у тебя есть просьба, выскажи ее мне.

Або обрадовался, глаза его наполнились слезами.

— У отца Иоанна, в моем сундуке египетская накидка, — начал он шепотом, — подарок эрисмтавари

Абхазии, там лежит еще кое-что из моей одежды. За-
клиная тебя именем Господа, продай все, на выручен-
ные деньги купи мне большие свечи, а то, что останется,
раздайте вдовам и сиротам. Приближается праздник
Крещения. Разве может христианин не зажечь свечу в
этот день. Может, эрисмтавари выпросит у амира разре-
шение... Только один раз, только в ночь Крещения по-
зволили бы мне зажечь свечи и помолиться как положе-
но. С чистой совестью жажду предстать перед Господом
моим...

— Знаешь что, Або... — Микаэл встревожился. — Я
постараюсь сделать все возможное... Не знаю... Как это
удастся... — пробормотал он и собрался уходить. — До
свидания, Або... Крепись... Не бойся... — Микаэл в ра-
стерянности направился к двери, но внезапно остано-
вился. Казалось, он что-то вспомнил, обернулся, со страхом
и благоговением подошел к Або и спросил: — Может
ты передумал и тебе стыдно, а, Або?.. Скажи мне, толь-
ко мне... Поверь, и тебе будет легче, и нам...

Або сидел, опустив голову. Он даже не взглянул на
Микаэла. Долго еще ждал Микаэл его слов, но тщетно.
Долгая тишина заставила начальника охраны войти в
комнату. Микаэл попрощался с ним и осторожно вы-
шел.

Начальник охраны проводил Або обратно тем же пу-
тем. Им попадалось по пути множество потайных хо-
дов и закоулков, и он знал их все назубок, без его ве-
дома даже птичка не смогла бы залететь в тюрьму не-
замеченной. У каждой камеры и темницы были свой
стражник, несколько палачей, соглядатаев и охранни-
ков. И все же, начальник охраны сумел провести узника
незамеченным.

Вернувшись в темницу, Або тотчас рухнул на хо-
лодный пол и погрузился в мрачное раздумье. Если да-
же его не станут умерщвлять, он все равно умрет, его
уморят голодом. «Возможно, я не доживу до утра...» —
подумал он с грустью.

НОЧЬ ВОСЬМАЯ.

Весь день об Або, казалось бы, не вспоминали. Вор-
вались ночью, приказали встать, встать он не смог, ста-
ли бить ногами, подняли, выволокли и бросили в склеп.

Не в склеп, а в суший ад, именно так он представлял себе преисподнюю. Что такое ад, он знал от Иоанна, но тот ад был на том свете, там судили мертвых, а этот находился в Тбилиси, под тюрьмой, его устроили в подземелье правители, и там оказывается карают живых людей, пытаются еще более жестоко, и никто здесь не ищет справедливости. Этот ад был еще страшнее, чем преисподняя...

Когда он присмотрелся, то заметил два огромных котла. В одном кипел деготь, в другом масло. В глубине этого ада виднелись виселицы, на нескольких покачивались человеческие тела.

Або охватил такой ужас, что даже боль его покинула, и он жадно тарачил глаза, думая о том, что его прежнее заточение можно было сравнить лишь с пребыванием в раю.

Палачи подвели Або к стражнику, который сидел на возвышении, окруженный палачами.

В подземелье было всего три таких возвышения, и на каждом сидели стражники в окружении палачей.

В одном из углов жестоко избивали обнаженного человека.

Або не отрываясь смотрел на стоящий неподалеку кипящий котел. Ему казалось, что палачи сейчас схватят его и зальют в горло кипящее масло. Но случилось не так. Стражник вскинул руку, и палачи быстро разошлись в разные стороны. Около Або остались только двое с копьями. «Значит, убивают», — решил Або. Для того чтобы убить, не требовалось много палачей.

— Искренне признай свою вину, и тебе не зальют кипящее масло в горло, — прямо к делу приступил стражник. — Скажи, когда пришел к тебе человек от эристави Ашота и что он принес?

— Господи! — вскрикнул Або, посмотрел вверх и перекрестился. — Впервые слышу... — пробормотал он.

— Что ты слышишь впервые? — холодно прервал его стражник.

— То, что вы сказали... — от страха у Або начали дрожать колени. Он разговаривал со стражником стоя на коленях, а теперь и вовсе распластался перед ним. Он слышал о том, что приходил человек от эристави Ашота, но сам его не видел и письма его не читал. Тогда Або сидел в тюрьме. Когда он вышел из тюрьмы,

ему сказали, что тот человек сообщил, что они оказываются живы и начали действовать. Что должен был ответить сейчас Або? Правду?..

Если сказать, что когда приехал тот человек, он сидел в тюрьме, то к нему пристанут с расспросами, откуда он знает о том, что кто-то вообще приезжал. За этим вопросом последует другой. Кто об этом сообщил? Когда, на какой день узнал об этом?.. Не мог он сказать правду. Солгать? Лгать Або не умел и не мог бы придумать что-нибудь убедительное. Придется воспользоваться неоднократно проверенным узниками, испытанным «не знаю».

Как видно, о том, зачем прибыл человек от Ашота, стражники до сих пор ничего не узнали, раз спрашивали об этом у него.

— Отвечай, когда пришел в монастырь к монаху Иоанну человек от эристави Ашота?.. — кричал он лежащему ничком Або. Або молчал, не поднимая головы.

Двое стражников схватили его за волосы и подняли ему голову.

— Не знаю! — решительно ответил Або, словно наконец-то принял какое-то твердое решение, что-то сумел в себе преодолеть. — Ничего не знаю!..

— Как, ты не знаешь, что эристави Ашот послал человека к монаху Иоанну?

— Нет.

— Хорошо, — спокойно сказал стражник. — Тогда скажи, где находится эристави Ашот?

— Не знаю.

— Почему не знаешь? Друг твоего господина пропал, неужели ты не поинтересовался, где он?

— Я не спрашивал.

— Почему не спрашивал?..

— Я простой слуга...

— И все-таки, где он находится, как ты думаешь?

— Не знаю.

— Что не знаешь? — рассердился стражник.

— Ничего не знаю.

— Принесите кипящее масло! — закричал он.

Палачи мгновенно подскочили к Або и повалили его на спину. Ковшом с длинной ручкой зачерпнули из котла кипящее масло и, просунув между зубами нож, заставили открыть рот. Кипящее масло поднесли к носу...

Остановились, стражник и старший палач совещались. Або лежал на спине, распухшие от боли закованные в цепи руки и ноги палачи коленями прижимали к земле. Рот у него был открыт. Они всунули ему в рот специально изготовленную для пыток деревянную воронку, чтобы кипящее масло, не разливаясь, прямо попадало в горло.

«Потом он вообще не сможет нам что-нибудь сказать», — донеслось до Або по-арабски. Кажется, это был голос стражника. «Пугают», — мелькнуло в сознании и блеснул огонек надежды. И действительно, зачем надо заливать ему кипящее масло в горло? Если хотят установить связи между Ашотом и Иоанном, он им нужен живой. Если кому-то и были известны интересующие их вещи, то это ему, Або. Он один мог подтвердить существование этой связи. «Не зальют», — думал Або, лежа с открытым ртом и разглядывая клубы дыма и пара под потолком.

«Зальем в ухо», — пришел на помощь стражнику палач.

«В ухо?» — стражнику понравилась эта мысль.

Совсем рядом кого-то пытали. Стоны этого несчастного холодили сердце.

«Плети», — послышалось Або, и сердце подсказало ему, что это к добру. И действительно, свое решение залить кипящее масло в горло стражник заменил на плети.

Вытащили у Або изо рта деревянную воронку, раздели его, перевернули на живот и стали бить плетями. Плети легче было сносить, чем палку. Он уже привык к побоям, свист плетей даже как-то успокаивал его. Або подняли, напялили на него его лохмотья и вывели из подземелья.

Его остановили у чернеющего отверстия в стене. Приказали влезть туда. Он опустился на колени, даже на карачках влезть в этот проем было трудно. Он все же вполз. В ту же секунду за спиной послышался грохот, и все поглотила крошечная тьма. Або оглянулся, — палачи закрыли вход, видимо, завалили его огромным камнем. О заточении подобного рода Або даже не слышал. «Неужели меня будут держать здесь...» — невозможно было даже сидеть, можно было или ползти, или лежать на холодном как лед камне. Он лег, попы-

тался передохнуть. Боли уже не чувствовал, эта черная дыра поглотила даже страх перед кипящим маслом. Но теперь в его душу вселился другой страх. Что ждет его в этой преисподней? «Это чтобы я не думал о своем Господе, чтобы все время жил в ожидании смерти», — думал узник и именно своего Бога — единственную надежду свою, молил избавить его от мук и увести его отсюда.

НОЧЬ ДЕВЯТАЯ, ШЕСТАЯ ТАЙНА.

Не только по всему Тбилиси, но и по всей Картли разошлась весть о том, что Иоанн Сабанисдзе сам по своей воле водворился в темницу и потребовал заключить его под стражу как наставника Або. Поступок Иоанна вызвал в народе пересуды. Одни считали его героем, мол, не вовсе презрел нас Господь, раз есть еще среди нас хоть один добродетельный и сильный духом человек. Другие, дабы скрыть собственную трусость и низость, насмеялись над ним, твердили, что не долго сидеть монаху в темнице, живо отправят на тот свет вслед за его выкорышцем. Третьи говорили, что монах Иоанн ни Бога не любит, ни человека, что он всего лишь жаждет возвратить себе свои поместья.

Поместья у Иоанна отобрали при первом его заключении, а когда была ему дарована свобода, он постригся в монахи и не подумывал вернуть себе свои владения. Его заботили дела поважнее, его волновала судьба отечества. Но несмотря на то, что злые языки плели сплетни, добрые дела Иоанна говорили сами за себя.

В народе стало все известно после того, как шуртадмтавари сдал Иоанна и Самоэла мцхетскому мамахлиси Гуарэму. Это происходило среди ночи, тайно, но, как известно, нет ничего тайного, что не стало бы явным, и в ту же ночь весь Мцхета узнал об аресте святых отцов.

Сам Господь Бог послал нам своего агнца, весь Тбилиси преисполнен жалости к нему, а Картли молчит, не решаясь поддержать мученика, Сабанисдзе исполнил долг каждого мужчины-грузина, решил пожертвовать собственной жизнью, но поддержать обреченного себя на смерть мученика Або, — так говорили в народе.

Дворец Гуарама стал центром притяжения всеобщего внимания.

Вскоре во дворец пришло известие — на Крещение в Тбилиси будут пытаться Або, туда сгонят народ со всей Картли.

Ано помолилась в дворцовой церкви за Або и с дрожью в голосе поведала святому отцу тайну:

— Батюшка, сердце велит мне навестить томящихся в темнице...

Блестели из-под покрывала ее гагатовые глаза, и благовония источали одежды.

Исповедник вздрогнул. Не ждал он от Ано подобных слов. Правда, и Ано, и Гуарам, и отец их были его воспитанниками, но они ведь служили сарацинам. Разве сестре мцхетского мамасахлиси позволили бы встретиться в тюрьме с изменившим халифу мусульманином? Ано вновь подняла на священника глаза и взмолилась:

— Мученика Або завтра предадут смерти, исполни-те волю Господню, обвенчайте нас!

В страхе огляделся исповедник по сторонам, поднял упавшую на колени девушку.

— Молись, дитя мое, молись, молитва успокоит твое сердце.

— Умоляю вас, святой отец, отправимся немедля в Тбилиси, за оградой нас дожидаются мулы.

Священник осенил Ано крестным знаменем и зашептал:

— Тише, этими словами ты губишь и себя, и других... Бес вселился в твое тело, это он говорит в тебе.

— Сам Господь велит мне ехать к Або, его словами обращаюсь я к вам, — Ано припала к руке священника и вновь бросилась ему в ноги. — Господь наш Иисус Христос солнце, а мы с Або, как две бабочки, стремимся к нему... С тем и еду я в Тбилиси...

— Умолкни, дочь моя, не богохульствуй, грузинскому монашеству еще не простили проступок Иоанна, никто не может предсказать того, что будет с нами завтра, а теперь еще это придуманное тобой венчание. Тебя казнят, так и знай!

— Пусть казнят, зато я спасу грешные души моего деда, брата моего Гуарама.

— Довольно! Замолкни! — вскричал священник, но, устыдившись, что повысил голос, тихонько спросил:

— Вы любили друг друга?

— Нет, я увижу его в темнице и предложу обвенчаться...

— Ты хочешь обвенчаться со смертником?

Ано подошла к иконе Всевышнего и, преклонив колени, испросила у нее прощения.

Священник осенил ее крестом.

— Втайне от брата? — испуганный священник говорил шепотом.

— Втайне от всех, — твердо ответила Ано.

— Тайно венчаться! — священник вылупил глаза.

— Церковь запрещает нам это! Нет! — он кинулся за алтарь, тотчас выбежал оттуда и, словно видя Ано впервые, в смятении закричал: — Я должен предать своего хозяина, защитника и заступника, единственного твоего брата — Гуарама?.. — дрожа, в волнении поднимал он все выше и выше руки с зажатым в ней крестом, словно и вправду говорил с нечистой силой.

— Значит вы предадите Господа нашего, Иисуса Христа? — вопросом на вопрос ответила Ано.

Священник перекрестился и произнес «Отче наш».

— Ты отступишься от заповедей Господней — дай-те еду голодному и воду жаждущему. Оденьте раздетого. Пригрейте чуждого. Успокойте недужного. Придите к заточенному.

Ано в волнении смотрела на святого отца, который, боясь встретиться с ней взглядом, отводил взор.

— Сабанисдзе, единственный добродетельный христианин, исполнил Господню волю, пришел к заточенному. А чего же мы ждем! Спрятались в страхе по норам и стар и млад, словно лисицы и мыши.

Тихо перешептываясь, вышли девушка и святой отец из храма. Ано побежала к дому, остановилась на краю обрыва и произнесла:

— Я брошусь с этой скалы, если мы тотчас не отправимся в дорогу.

В страхе вцепился ей в руку священник.

— Спросим, божья душа, Гуарама, брата твоего, — взмолился он. — Негоже иначе. Уважь хотя бы мои седины.

Ано стало жаль старика, решила она, что одна поедет в Тбилиси, найдет там Микаэла, и он поможет ей пробраться к Або, и священника они тоже разыщут.

— Я приду к вам исповедаться, святой отец, истинный христианин не покинет своего духовного воспитанника... — сказала она приказным тоном, укрылась платком и направилась к дому.

Священник бормоча засеменил следом:

— А если мученик не захочет венчаться?

— На то его воля... — спокойно ответила Ано.

— Ано, — окликнул ее святой отец, — послушай меня!

— Я еду в Тбилиси... Мулы ждут за оградой.

В отчаянье оглядел преподобный отец дворец масахлиси. Что скажет Гуарам — сестра его венчается со смертником, а ее духовник не перечит ей в этом!

— Давай спросим если не Гуарам, то хотя бы католикоса, — вновь взмолился святой отец, — Богу не угодно самоволие.

— По воле Господа еду я к Або, его святейшество не остановит меня, — твердо ответила Ано и направилась не к воротам дворца, а почему-то к потайной двери, которая тотчас, словно по волшебству, открылась, Ано быстро юркнула в нее так, что святой отец еле успел последовать за ней следом.

Разве мог он бросить Ано? Он, конечно же, обвенчает ее, он даже собственной жизни ради нее не пожалеет, но никогда не делал он еще ни шагу без ведома своих хозяев. «Быть может, мне удастся отговорить ее в дороге, и мы вернемся назад», — думал он в свое оправдание.

За оградой Ано ждали оседланные мулы и свита, молча сели верхом и двинулись в путь.

Всадники верхом на мулах прибыли ко дворцу эрисмтавари. Управитель, узнав сестру мцхетского масахлиси, с почестями встретил высоких гостей.

Ано спросила о Микаэле, и тотчас, на удивление челяди, покинула дворец и направилась к дому Микаэла.

Микаэл был на седьмом небе от счастья. Он поцеловал руку преподобному отцу, потом бросился в ноги к Ано, не смея поднять на нее глаза.

— Встань... — холодно обратилась к нему Ано. — Мы должны навестить Або, я приехала ради этого!..

Микаэл не шелохнулся. Ее слова неприятно коль-

нули его, он резко вскочил на ноги, посмотрел в глаза Ано тяжелым взглядом и забормотал:

— Я хотел приехать к Гуараму... но... не решился... я... опоздал...

Голос Ано привел его в такое блаженное состояние, что он чуть было не потерял сознание. Но одно слово, одно-единственное слово вернуло его на землю. Сначала Микаэл подумал, что ослышался, но слово это было начертано у девушки на лбу: «Або». Он потрянул головой, чтобы избавиться от этого видения.

— Пошли, Микаэл, — вновь услышал он ее голос.

Микаэл стоял не шелохнувшись, с изумлением смотрел на Ано, которая повернулась и шла к двери.

— Куда?.. — у Микаэла заплетался язык. Он явно услышал слово «Або», которое произнесли губы Ано, остальные слова он вновь не услышал. Почему Ано так часто произносит имя узника, приговоренного к смерти? Разве она знает Або?.. Священник отвел в сторону растерянного Микаэла и тихо шепнул ему на ухо:

— Сегодня ночью вы должны провести нас к Або, другого выхода нет, она хочет обвенчаться...

Священник ничего не знал о любви Микаэла к Ано и поэтому прямо сказал о цели их приезда.

— Не понимаю... кто венчается? — спросил Микаэл.

— Сегодня ночью я должен обвенчать Ано и Або, — ответил священник.

— Ано и... Або... — простонал Микаэл. — Ано! — крикнул он в отчаянье.

Ано вернулась в комнату.

— Завтра Або казнят... — прошептал Микаэл.

— Именно поэтому я должна обвенчаться с ним, — твердо произнесла Ано. — В Картли остался один достойный мужчина, и того завтра призовет Господь... Я должна успеть обвенчаться с ним сегодня.

— Ты ведь знаешь, что грозит тебе за это... Образуешься, Ано! — Микаэл вновь припал к ногам девушки. — Тебя схватят сегодня же, тебя, твоего брата Гуараму, всю родню!.. В Грузии ни одна женщина не совершала подобного поступка.

— Что ж, — гордо ответила Ано, — когда мужчины опускают мечи, женщины должны поднять их!

Ано презрительно посмотрела на распростертого в

ее ногах Микаэла и вышла из комнаты. Свита ждала ее за дверью.

Униженный, попраный лежал Микаэл ничком на полу не в силах поднять голову.

— Пойдем, сын мой, Ано надеется на тебя... — священник тронул Микаэла за плечо, поднял его.

— Святой отец, отговорите ее, молю вас, отговорите, — стал целовать старику руки Микаэл.

— Говорит, что исполняет волю господа Бога... Не внимает словам моим... — шепотом произнес святой отец.

— Что делать?..

— Я смирился, лучше принять смерть, нежели ходить по земле, не исполнив воли Ано... — добавил обреченно старец.

— Пошли! — неожиданно решительно произнес Микаэл, схватил отложенные для Або большие свечи и кадило и, словно безумный, выскочил из дома.

Микаэл привел гостей в темницу, отыскал главного тюремщика, дал ему мзду — одиннадцать сребреников и упросил передать Або свечи и кадило и провести в темницу старика и его дочь, которые хотят навестить узника. Истинную причину он, конечно же, не открыл.

Главный тюремщик, известный на весь Тбилиси взяточник — ради одной серебряной монеты готов был, как говорится, продать жену и детей. За взятку его могли уговорить на любое дело, а Микаэл уже вторично предлагает ему одиннадцать сребреников. У тюремщика прямо-таки крылья выросли — получить серебро само по себе приятно, а тут его предлагает простому стражнику мдиванмцигнобари самого эрисмтавари Картли. Тем не менее, тюремщик пообещал Микаэлу самолично передать Або свечи и кадило, но провести к нему отказался — на завтра назначена казнь и темница усиленно охраняется.

И только после того, как Микаэл пообещал еще одиннадцать сребреников, главный тюремщик согласился провести пришельцев к Або, но настрого наказал:

— Помните, если стражники спохватятся, имени моего не называйте.

И пошел вперед. Спустившись в подземелье и пройдя темный тоннель, они оказались перед темницей Або.

— Говорите отсюда... Сделать большее — не в моей власти, — сказал тюремщик, открыл малюсенькую форточку и тихо позвал:

— Або... Або...

В темноте послышался лязг цепей. Або, услышав тихий зов, собрался с силами и пополз к двери. Микаэл передал ему свечи и кадило.

— В полночь, когда стражники уснут, — сказал главный тюремщик, — придет мой подчиненный, он зажжет тебе свечи.

Сказал и тотчас удалился, растаял в темноте.

— Микаэл, это ты? — спросил Або у тени, стоящей за форточкой.

— Да, это мы. Здесь священник и Ано со свитой.

— Ано?.. — удивился Або.

— Ано... — повторил Микаэл, отошел от окошечка и стал в стороне. К форточке прильнула Ано.

— Або... — проговорила она растерянно и смолкла, не в силах продолжать. — Скажите вы, батюшка...

— Как я могу служить богу в этом аду? — дрожащим голосом произнес священник... — Господи, прости меня, грешного, что творю, не ведаю... — зашептал старик, прислонился лбом к форточке и сказал: — Сын мой, Або, сестра мцхетского мамасахлиси Гуарама, моя воспитанница Ано, желает обвенчаться с тобой... Вот она, стоит и плачет...

— Обвенчаться?.. Со мной... — послышался изумленный и в то же время исполненный отчаяния голос Або. — Отче, вы в самом деле священник или же перед смертью явился мне дьявол? Микаэл, ты чего молчишь, неужто устами подлинного священника произнесены эти слова?

— Сестра Гуарама хочет обвенчаться с тобой и умоляет священника совершить этот обряд... — с трудом выговорил Микаэл эти слова.

— Заканчивайте! Скорее! — послышалось из темноты.

— Если ты согласен, протяни в форточку руку, — велел священник.

— Я в цепях, батюшка... — послышалось в ответ. — Но... — вслед за лязгом цепей в форточку просунулась кисть.

Священник соединил руки юноши и Ано. Почувст-

вовав в своей ладони руку Ано, узник произнес дрожащим голосом:

— Зачем?.. Зачем?.. Завтра меня уже не станет, божественная...

— Именно потому... — зашептала в ответ Ано.

— Венчаются рабы божия Або и Ано во имя отца и сына и святого духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

Священник надел на палец Або золотое кольцо и серебряное — на палец Ано.

— Венчаются рабы божия Або и Ано во имя отца и сына и святого духа...

Он осенил крестом соединенные руки, укорачивая обряд венчания, ибо не мог он обратиться к Всевышнему с пространной молитвой. Вспомнить бы самые насущные, самые необходимые слова...

— Благослови, Боже, рабов твоих Або и Ано..

Но тут подбежал к ним главный тюремщик и со словами «сюда идут» схватил Ано за руку и силой поволок за собой, велел священнику и Микаэлу следовать за ними. Держась друг за дружку, они пролезли в сырой и холодный тоннель и затаились. Ни звука ниоткуда, ни шороха. Спустя время, главный тюремщик, согнувшись, пошел дальше, ведя за собой испуганную процессию.

Микаэл благодарил Бога за то, что он не оставил их. Правда, поступок Ано раздирал ему сердце, но он не терял надежды: со временем Ано забудет все, что связано было с именем Або и обратит свой взор к Микаэлу.

Або не верил в случившееся. Он никогда не видел красавицу-сестру мцхетского мамасахлиси, лишь слышал о ее несравненной красоте, знал, что зовут ее Ано.

Растерянный, теребил он кольцо на пальце, дивясь чувству, охватившему его. Что это? Любовь? Нет... Земная любовь осязаема.

Но он тотчас очнулся, вспомнив, что сегодня предстоит ему очиститься от грехов, от всего земного. «Нет, не земная любовь привела ко мне Ано», — осознал он внезапно и полегчало у него на душе, возрадовавшись, упал он на пол и стал молиться.

Безжалостно волокли его, бездыханного, по холод-

ному подземелью, прежде чем заточить в темнице. Глова его билась о стены, но стражники не замечали этого. И вот он лежит в темноте и старается унять боль, думая об Ано... Микаэле... О завтрашнем дне. Завтра— Крещение. Каждый христианин встретит наступающий день молитвой. У Або связаны руки и ноги, но ведь душа его оставалась свободной, душу ведь не закуешь в кандалы! И если даже ему не удастся затеплить свечи, он все равно будет молиться, как и в прежние ночи, будет молиться его душа.

С чистым сердцем должен он молиться, должен забыть все обиды, не помнить о темнице, кандалах, стражниках, палачах, должен изгнать из сердца гнев, укротить восставшую душу.

Стало тихо. Замолкли шаги. «Наверное, уже полночь», — подумал Або, нетерпеливо ждущий той минуты, когда тюремщик зажжет свечи, затеплит кадило и в темнице запахнет церковью. Або жил — если существование его можно назвать жизнью — лишь ожиданием той минуты, когда сможет обратить свою молитву к Всевышнему. А свечи ведь освещают дорогу к Богу...

Вдруг дверь в темницу открылась — Або не слышал шагов и лязга засовов — тюремщик осторожно переступил порог, поставил на землю совок с горящими угольями, осветил Або факелом и зашептал:

— Давай свечи...

Або протянул свечи, в темноте лязгнули цепи.

— Тише... — приказал тюремщик, — услышат стражники... — Он зажег свечи и ушел, закрыв дверь на засов.

Або поднял большую руку, освятил стены кадилом; потом осенил себя крестом и стал перед горящими свечами.

Або знал все псалмы Давидовы, старательно выучил их в Мариамцминда; со слезами на глазах шептал он псалом, в котором Давид молил Бога о спасении души.

Свечи освещали темницу. Або шептал псалом так тихо, что его мог услышать разве что обостренный слух. И лишь когда осенял себя крестом, лязгали цепи.

Разговаривая с Богом, Або не помнил о больном теле своем, о голоде и жажде, и холод не донимал его, словно бы он находился не в темнице, а горел свечой в безграничном пространстве и сливался с небом.

Слабый дымок из кадила кружил над свечами, Або ощущал его благовоние.

Або знал, что стражники неусыпно следят за ним. Здесь, в подземелье, и помышлять нельзя было о том, чтоб затеплить свечу и молиться, но коль скоро сам тюремщик зажег ему свечи, стало быть, в тюрьме все подкуплены.

И все-таки Або молился шепотом, всем существом своим переживая слова псалма.

...Когда-то на берегу реки Иордан произошло чудо. Завтра же, 786 лет спустя после того Крещения, на берегу Куры, в Тбилиси прольется кровь новообращенного Або. Сердце предсказывало ему это.

Он шептал молитвы Иоанна Златоуста, к которым обучил его святой отец Григол... Каждое слово молитвы наполняло его любовью, укрепляло веру...

Неожиданно мертвую тишину разорвал звук трубы и в темницу ворвались стражники.

Або продолжал молиться, воздев кверху руки в цепях.

Палачи задули свечи, разломали их и бросили на-земь, ногой отшвырнули прочь совок с угольями...

Средь них находились и тот, кто зажег Або свечи, и главный тюремщик, который, дабы не заподозрили его, с особой яростью грозился расправиться с Або. Но молящегося никто не трогал, ждали прибытия главного палача, только он мог вынести приговор. Палач не заставил себя долго ждать, он появился в сопровождении двух факельщиков, следом шли копьеносцы.

Приказ был краткий:

— Колючими палками — до смерти!..

Окончание следует

Перевод Динары КОНДАХСАЗОВОЙ



Что мне по силам

Башмачки мои солнечным шиты лучом,
на агате волос моих — солнечный гребень,
чтоб с тобой, ярый тур, я сравнялась во всем.
Но — стою на земле. Ты же — властвуешь в небе.
Старый дуб, тамада неизменный полей,
так восславит твое и мое обручение,
что отныне и впредь, до скончания дней,
я уверую в славное предназначенье:
пусть меня перемелют с пшеницей шесть раз,
пусть шесть воплей, нутро разрывая, рванутся —
четырьмя сыновьями господь мне воздаст
и две дочки под сердцем моим встрепенутся.
Амирани поставлю в пример сыновьям,
об Этери, Цикаре поведаю дочкам.
Я девичьим сердцам всю отвагу отдам,
а крепчайшую веру — сыночкам.
Черный ворон все кружит... Неужто опять
обрядится в орлиные перья?
Чтоб на скалах бесплодных добро насаждать,
нам нужна и отвага и вера.
Не клялась и молитвы не знала иной —
шесть свечей зажигаю для правды одной,
это — солнце твое, Сакартвело.
И, тростинка твоя, я навеки с тобой —
и завидней судьбы не хотела.
Что по силам тростинке, покуда она
не смешалась с родимой землею?
Только — песня, что ветром мечтаний полна,
расцветая, как ландыш весною.

Гадалка



Кофе выпит. Бабушка пытается
райские мне напорочить кущи,
наклонившись над кофейной гущей,
и веселым смехом заливается:
«На сердце твоём, моя строптивница,
грех лежит: коль страсть тебя отметила,
что же ты ни разу не приветила
мальчика? И сердце не противится?
Юный он, отказа испугается,
неокрепший пыл его остудится.
Впрочем, что начертано, то сбудется.
Свадьба намечается.

По тропе идешь, венком увенчана.
Сплетни — змеи желтые — сплетаются.
Зависть — птицы красные — слетаются.
Так судьба решила. Делать нечего...
Крошечная Муриа? — мучения.
Бедная, как будешь ты измучена!
Но, к борьбе за истину приучена,
не оставишь пения.
Зеркало? — удача небывалая.
А родник... Дитя, пребудешь в святости.
И мечты, не потеряв крылатости,
сбудутся...»
И смолкла вдруг, усталая.
— Бабушка, о чем ты плачешь, милая,
что от слез лицо твое туманится?
— С песнею умрешь...
— Тогда печалиться
не о чем, — тихонько обронила я.

Спокойствие

Спокойна я — и словно позабыты
ветра, что так недавно бушевали.
Так старым девам, чьи сердца разбиты,
язык страстей дано понять едва ли.
Так грудь холма от первой ласки солнца
смущенья краской алою залъется.

Так по красе утраченной тоскует
красавица: как по монете — скряга.
И юную вдову сосед ревнует
к тому, кто вечным сном заснул, бедняга.
Жены лукавой принимает ласки
несчастный роконосец без опаски.
В спокойствии уверилась — однако
мне незабвенность очи выжигает.
Так на траве горит кровинка мака.
Так на моей щеке слеза сверкает.

Две картины

Как иголка в траве густой —
одиноким отец твой потерял тобой,
деревенская девочка.

Ты теперь на тбилисских улицах
в тесных джинсах
и в черной рубашке,
и высокая грудь красуется
нараспашку.

А глаза твои — горькая ягода,
бузина переспевшая.

Но губам сигарета надобна ль
надоевшая?

То, что стерпится —
слюбится.

И уже не в новинку
и субботняя пьяная
в полутьме вечеринка:
вальсы, шейки, шампанское,
у тебя, в лихорадке,
перехвачен за пляскую
поцелуй не украдкой.

Кто-то шепчет вполголоса
и отводит в сторонку.

Зацелованы волосы
у притихшей девчонки.

Вот бы замки воздушные
наконец-то разрушить,
а не шепот услужливый,
распаяясь, дослушать...

Но веселье закончено.





ЭЛБСЭНЭНЭН
ЭЛБСЭНЭНЭН

И приходит без стука
маета за полночь,
беспросветная скука.
И припомнится —
с завистью
к сладким детства мгновеньям —
и отца одиночество,
и родное селенье.

Над хохмельской лозой ветер охает, злится.
Человеку седому спозаранку не спится.
У него, чуть проснется, те же думы и вздохи:
Как живет студентке в городской суматохе
без родимого дома, без отцовского слова?
Ты не будешь, столица, к ней, бедняжке, сурова?
Одинокие думы
человека седого.

Земля

Прелестной невесты платье
сбросило Солнце с Земли —
и фиалки ее расцвели,
и раскрылось объятье,
и, фиалки прижав к травяным волосам,
у томящих желаний во власти,
обратила распахнутый взор к небесам
в вечной женственности и страсти.

Перевод Натальи АРИШИНОЙ



Рассказы

ВЕЧЕР

Виджу, как ты бредешь под моросящим дождем, и вечер следует за тобой по пятам.

В тонком покрове сумерек очерчивается все — покосившиеся плетни, замшелые, трухлявые, холодные, серые дома.

Идешь, привычно подставив дождю плечи, в вымокшей до нитки телогрейке, неуклюже ступая чавкающими сапогами. Из голенищ твоих сапог проглядывают черенки виноградной лозы...

Идешь со своей горькой любовью, уподобившийся этим дождливым сумеркам. Видишь, как заполнил мох расколовшуюся стену свимоновского дома и тебя с тихим шелестом повлекли окутанные тайной подножия плетней.

Вот! Боже, что стало с этим домом, как буйно разрослась под оградой ежевика!.. Идешь и ощущаешь стопу, которой ступаешь, все тело. Кабы не так, ведь и дух испустил бы...

Взбираешься все выше по дороге.

— Что тебе удалось, парень, по тому делу? — на битком набитой дровами тачке сидит Якоб и наматывает поводья на руки.

— Ничего!.. — ты отходишь с дороги и печально улыбаешься ему.

— Да-а, толку от тебя мало, что с тобой поделаешь! — трогает Якоб тачку, ни разу не оглянувшись.

Ты провожаешь его взглядом. Потом оборачиваешься и вновь улыбаешься. Кто, интересно, знает там цену твоей улыбки? Разве что эти окрестности...

Снова трогаешься в путь.

Долго еще не сходит с лица твоего улыбка. Кто-то стоит перед их домом. Это ее хохотунья-сестра. Не заметив тебя, она поворачивается и входит в дом. Путь поодаль в темном до пят платье едва волочит ноги бабушка Саломэ. Ты идешь себе, опустив одно плечо, под сапогами чавкает грязь.

Кто-то запирает на засов ворота... Вспоминаются тебе жена и дети... слегка поостынут горячие, присыпанные золой угли. Словно прятка, должно быть, вертится по дому твоя коротышка жена; клокочет кастрюля; две стриженные, похожие на жеребят, девочки встретят тебя, шмыгая носами.

Точно после слез проясняется у тебя настроение. Теперь ты другой — теперь ты отец, теряющий голову из-за детей отец, теперь ты муж — умный, трудолюбивый, бессловесный муж.

Сегодня ночью ты приласкаешь жену. А любовь твоя — нежнокрылая, красивая птица—затаилась там же на макушке тополя.

Колышется на ветру стройное дерево.

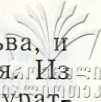
Вижу тебя, вижу и люблю.

Т Р О Е

Жили они в местечке, где дома из белого камня были обмазаны глиной и глиной же обмазаны каменные лавочки между ними, глиняная пыль покрывала дорожки между изгородями и глиняного цвета становилось все вокруг во время дождя. По шагам узнавали друг друга люди в этом квартале и жили одинаково, обычными заботами и хлопотами.

По вечерам все окрашивалось в темные тона, по проселку проходило стадо, оставляя теплое марево, и поселок еще теснее обвивал тебя своими глиняными руками.

В однокомнатном низком домике открывающаяся вовнутрь балконная дверь вровень с перилами всегда распахнута, а стекла обоих окон, выходящих во двор, постоянно перепачканы отпечатками детских пальцев.



В кастрюле с дырявым дном блекло светится мальва, и на кирпичных плитах валяются ее желтые листья. Из щели в потолке торчит кукурузный початок. К аккуратно расставленным на полке книгам никто не посмел бы даже приблизиться. Под наспех заправленными, сдвинутыми железными кроватями стоит ночной горшок, прикрытый сложенной вчетверо газетой. Стенные шкафы некогда были выкрашены в голубой цвет. К шкафу с приоткрытой дверцей подседа Нано, девочка лет пяти, и прямо из банки стала есть варенье, ее сестра — Далинэ, года на три старше, лежит, свернувшись калачиком, на тахте и мысленно нежится в перехваченном ею взгляде влюбленного в нее мальчика. Вспомнила, как он передал ей пальто и посмотрел на нее. Вчера он уступил ей место возле печки, сказав: согрей свои тонюсенькие пальцы, но то, как он сегодня передал ей пальто, это уже было нечто совсем другое.

Стоит напряженный весенний день. Мать Далинэ и Нано возвращается из школы. В одной руке у нее бидон с керосином, другой она прижимает к груди набитую тетрадками сумку и большой, перевязанный тряпичей привядший пучок фиалок — подарок учеников. Она старается держать бидон на отлете, но все равно брызги керосина попали на подол платья. «Пропади все пропадом, пропади, чтобы и тебе успокоиться и мне», — женщина горько улыбается своим словам.

Мать теперь уже на балконе, заливает керосин в керосинку. Далинэ и Нано сидят в комнате, на тахте, друг возле дружки, понуриив головы. И дверь шкафа закрыта, и комната прибрана. Мать внесла керосинку, разогрела остатки супа, достала из шкафа хлеб и крошила его в кастрюлю.

Нано и Далинэ хоть и приподняли головы, но продолжают сидеть смиренно.

Мать достала из шкафа три ложки, потушила керосинку, приставила к ней три низеньких стула, и они принялись есть прямо из кастрюли. У Далинэ выпал поднесенный ко рту кусок. Мать стукнула ее по руке и сказала с набитым ртом:

— Почему Нано ест как положено, кто из вас старше, ты или она?

Далинэ опустила ложку в кастрюлю и расплакалась.

Мать очень разволновалась.

— Ну ладно, не реви, ешь, если любишь меня! (Нано продолжает кушать так, словно ничего не происходит).

Далинэ по-прежнему плачет.

— Нет, не люблю! — неожиданно кричит она, встает, пересаживается на тахту и причитает, как взрослая: — Лучше б я умерла тогда, когда болела, лучше бы умерла! — И плачет.

Женщина сидит у керосинки, зажав ладони между колен.

— Далинэ! — поднимает голову Нано. — А ты выпей мутной воды и умрешь, слышишь?

Теперь уже на нее посыпались шлепки и теперь уже расплакалась она. И третья ложка соскользнула в кастрюлю, Нано тоже влезает на тахту. По лицу женщины бесшумно текут слезы. Она встает, подходит к детям, садится на тахту и, прижав обеих девочек к груди, громко рыдает.

У глухой стены двухэтажного дома собрались дети. Присев на корточки и, как зайчата, наострив уши, они слушают Далинэ. Далинэ старшая среди них. Примостившись посередине, она ступнями придерживает подол бумазейного платья:

— Мы всегда кушаем сдобный хлеб, обычный хлеб нам не нравится, а вы?

— А мы только гостей угощаем сдобным хлебом, — отвечает маленький мальчик, смущенно потупив взор.

Другие тоже смущенно косятся на Далинэ, которая, оказывается, всегда кушает сдобу.

— Это еще что, вы послушайте, что я вам расскажу, — начинает новую байку Далинэ. — Перед самой зимой, пока не выпал снег, надо привезти побольше дров, чтобы с лихвой хватило на всю зиму. Нужно заколоть парочку свиней и засолить и трубу «большой воды» тоже как-нибудь провести во двор, и когда все успеется, пусть именно в ту ночь выпадет снег, снег что надо! Пусть все вокруг станет белым-бело! И чтобы носа нельзя было высунуть! В такую зиму по вечерам из лесу будут приходиться к нам лисы, зайцы, белки и стучаться в дверь: открой, открой нам, пожалуйста, дай обогреться немного. — Дети слушают Далинэ, затаив дыхание. — Открою я им дверь, они войдут, волоча заочевшие хвосты, озябшие, голодные...

— Далинэ-э! — донесся голос Нано.

— Чегоо? — ответила Далинэ, продолжая сидеть на корточках.



— Скорей, скорей, письмо получили!

Далинэ вскочила, в мгновение ока пробежала меж плетней и очутилась у спуска, где стояла Нано, вытянув шею, приготовившись кричать. Увидев Далинэ, она принялась махать руками.

— Скорей, от бабушки письмо! — И побежала.

Далинэ последовала за ней.

В комнате на столе лежит надорванный конверт. Лицо матери пылает от радости.

— Мам, что там? — спросила Далинэ.

— Завтра наша бабушка будет здесь.

Далинэ расплакалась. Иначе она просто не умела выразить свой восторг.

И начались большие приготовления, они прибирались, натирали все до блеска — и мать, и дети.

Далинэ где-то нарвала васильки и поставила в банку.

Потом мать пошла на станцию километрах в пяти от села и взяла с собой двоих учеников, чтобы перетащить багаж.

Нарядившись в обновки, сестры пошли к соседям, чтобы услышать: Далинэ, Нано! Бабушка приехала, скорее! — и выбежать. Чтобы бабушка увидела, какие они взрослые и какие они нарядные. И прижаться к ней. Им не хотелось ни есть, ни пить. Стоило Нано присесть, как Далинэ ее подталкивала — вставай, платье помнешь. И сама была на ногах все это время.

Стемнело.

— Далинэ, Наноо! — утомленный голос матери извещал, что ничего радостного не произошло.

Они взялись за руки и поднялись в дом. Мать лежала на тахте, уставшая, утомленная.

— Не приехал автобус, сказали, что не выезжал... Идите ко мне, поднимайтесь...

Далинэ и Нано влезли на тахту. В ту ночь они спали вместе.

Утром они отправились в школу — мама, Далинэ и Нано. Далинэ несет сумку и идет, склонившись под ее

тяжестью. Нано держится за маму, из-под платья у нее потешно виднеются сползающие штанишки. У них очищенные, просветленные лица — это даже к лучшему, что бабушка не приехала.

СЕСТРЫ

Она сходит с автобуса и пускается в длинный, нескончаемый путь. Идет, держит в оттопыренной руке припрятанную на черный день сумку, складки которой забиты пылью. Идет и думает: в прошлый раз сестра встретила меня радушно, приветливо, сейчас, наверное, не обрадуется, непременно огорчит меня, чувствую, причинит боль... Хотя накануне сон видела — будто палец порезала, держала кверху указательный палец и по нему текла теплая кровь, красная. Красное во сне — это к добру.

В сумке лежит завернутая в газету сухая луговая мята, найденный когда-то карманный ножик, мятные конфеты, вырезка из «Сельской жизни» — со статьей «Чтобы быть здоровым».

На ней чулки с дыркой на большом пальце. Поминутно поправляет, знает, сестра рассердится, если заметит.

Старшая сестра всегда выходит из дома опрятно одетая. Парадная одежда, ухоженная, висит у нее в шифоньере. Возвратится она с панихиды (в последнее время только и ходит на панихиды да за хлебом), вывернет платье и повесит проветрить, начистит до блеска запылившиеся черные лакированные туфли, выстирает чулки и все снова водворяет на место.

Эта... эта — другая, с одного взгляда нагоняет она тоску. Крикливая желто-белая ситцевая бесформенная кофта, бестолково остриженные волосы, глаза, лишенные ресниц, смотрят только вперед. Удлиненная черная юбка, подшитая красными нитками, все равно коротка, не прикрывает ее кривые ноги. Юбку-то она удлинит, а погладить поленилась.

У поворота — дом Бахвы. Она отводит глаза — срок лет прошло, а ее все в жар бросает при виде Бах-

вы, вспоминается племянница, которая умерла, когда ей было пять лет. Сейчас она была бы в возрасте Бахвы. Этот паршивец оказывается, случилось, бил бедную девочку. Говорят, девочка все твердила: Бахва, не бей меня, Бахва, не бей...

С трудом взбирается она к дому и тотчас сиротливо устраивается на самом краешке стула, с облегчением откидываясь на спинку.

— Как поживаешь, — спрашивают ее, и она отвечает: — Устала, устала!..

— Мы, дорогая, тоже устаем, — хозяйка энергично хлопчет по дому и не глядит на сестру: да и осудить ее трудно, такая сидит вся в напряжении...

— Присядь ненадолго, — просит она сестру.

— Да как же я сяду, такой кавардак вокруг, — снует по комнате, как челнок, старшая сестра.

Младшая расспрашивает обо всех, потом выходит, споласкивает руки, лицо и не вытирает, ждет, пока обсохнет.

Садятся обедать. Она пристраивается неподалеку и оттуда протягивает руку.

— Пока это оставь, сначала поедим суп, — сестра ставит перед ней наполненную до краев глубокую тарелку, распекает ее: — Да сядь ты по-человечески и поставь тарелку перед собой.

После обеда она встает, чтоб помочь убрать со стола.

— Сиди, ради бога, сиди, — ловко орудуя посудой, говорит старшая сестра.

Уже под конец, перед самым уходом младшая несмело произносит:

— Инжира очень хочется, инжир можно? — Она любила есть инжир с хлебом.

— Жарко сейчас, что за удовольствие есть теплый инжир? — не подняла головы занятая делом сестра.

— Уж очень хочется, — заупрямилась она, чтобы сгладить неловкость.

— Ешь, если очень хочется, только ветку не обломай. Шла она к дереву, хотя уже и не хотела инжиру, да и вообще ничего не хотела.

Прошла в конец огорода, где рос инжир и протекал ручеек, присыпанный сверху хворостом. Села у ручья,

пеня на свою горькую судьбу, не зная, кому жаловаться, что родилась такой несчастной и невезучей.

Когда к ней приезжают, она, бедняжка, голову теряет от радости! С удовольствием выкладывает на стол все, что сыщется дома, если проглядит что, так эта барыня сама напомнит. Провожает их до самой окраины села, и сердце у нее готово от радости выпрыгнуть из груди. Завидя встречных, в знак приветствия поднимает руку и не скрывает гордости — вот, мол, моя старшая сестра... Едва переводит дух, оставшись одна. Перед сном вспоминает все — улыбчивый взгляд, сказанные в госте слова, и на целую неделю облегчается ее жизнь.

— Я своей жизнью довольна — говорит обычно старшая сестра, — я счастливая мать, и дети у меня хорошие, и невестки.

На днях сестра прислала записку с оказией. Просила долг вернуть. Помогла ведь я тебе, одолжила — писала сестра, теперь я в затруднении: сын едет на экскурсию и нужны деньги. Стоимость поросенка, которого ты мне подарила, вычти.

Нужную сестре сумму она отослала, за поросенка денег не удержала.

Весь день проплакала: почему, почему мне мерещится всякая всячина, что за несчастья со мной. Подметала — плакала, шла с кувшинами за водой — плакала и утирала слезы плечом.

Вечером в оцепенении сидела одна на нижней ступеньке лестницы, сыпала курам смоченный хлеб. Потом, когда уже не знала, чем заняться, обводила взглядом изгородь: вот что принадлежит мне, и я тоже, кроме них, никому не нужна. Поскольку они мои, они такие же жалкие и несчастные — и эти фруктовые деревья, и эта сияющая аютиными глазками цветочная грядка. Раз они несчастные, пусть уходят, пусть разбегаются с моего двора, пусть спасаются... Но не было уже слез, чтобы плакать...

Наутро, едва рассветет, отправится она в поле. И нагонит ее, идущую по дороге, набитая людьми машина.

ДОРОГА ОТ МОЕГО ДОМА ДО ТЕБЯ



Когда ты томился без меня и нетерпеливо искал меня в каждой встречной, тогда я каждое утро собирала грибы под своим ложем, грибы и желтые стебельки трав. Я не лгу тебе. Я говорю правду, тебя я не обманываю никогда, потому что не боюсь тебя. Оказывается, человек лжет из страха.

Я собирала грибы (не то чтобы собирала, а видела) и думала о том, что кто-то где-то когда-то так же собирал под своим ложем грибы и травы. В плетеной обмазанной глиной стене лачуги я еще больше расширяла щель — только так я могла отплатить нищете, и еще тем, что не жила в той ужасной, ветхой и бездарной лачуге — мне нравился дом Бахвы, и я переселялась туда в мечтах, жила там. Вот так! Я не давала себя в обиду, пока сил хватало...

Когда по утрам проезжала машина, набитая едущими на работу в поле людьми, мне казалось, что они смотрят на нашу покосившуюся хибарку, дверь которой (да и не дверь даже) рылом выламывала голодная, разъяренная свинья, и, сжавшись от страха, я ждала, когда на нас обрушатся с криками: нищие, бездомные, несчастные, без божьего благословения появившиеся на свет! Потом уцелевшая, усталая и довольная, я пробиралась в конец бахчи, где стояло единственное дерево — зеленый инжир.

Хорошо еще, что была эта бахча, что стоял там зеленый инжир. Завидит, бывало, меня тот инжир, печально опустит вниз темнеющие ветви. Иной раз до вечера сидела я на ветвях инжира, укрытая от людских глаз, наполненная своими земными мечтами: у нашего огромного двора будет забор, такой же, как у Бахвы. Собака у нас будет и, подходя к калитке, сперва спросят: собака на привязи, доченька?! И пуля ее не возьмет, она будет какой-то особой породы, никто не посмеет в нее выстрелить. Посадим плодовые деревья. Разведем столько кур, что будем резать, когда захотим. Моя мать воспрянет духом, расправит плечи, похорошеет. Дом у нас будет каменный, красивый, ухоженный: одна большая комната

с просторным балконом и лестницей в две ступеньки. Пол у нас будет такой, как у Бахвы—сверкающий, кровати с одинаковыми покрывалами. Червивый комод я выволоку и разнесу топором, чтобы избавиться от него и не видеть больше. Придут потом наши богатые родственники, войдут в дом, вытаращат глаза: как поживаешь, доченька? Очень хорошо живем, отвечу я и нахмурюсь. Посидят они, посидят и уйдут. Уйдут, и бог с ними. Надежно запру за ними наши двухметровые железные ворота и ласково поглажу нашу собаку. Моя мать, улыбаясь, еще постоит, облокотившись на перила... Так я мечтала, сидя на ветвях того инжира.

О-о, каким горьким и прекрасным кажется мне все это!

В пятом я была классе, когда в меня влюбился один мальчик. Он стоял и смотрел на меня, как новорожденный буйволенок. Я все искала тот взгляд, натаскала на него где-нибудь и пьянела, пьянела, ощущала себя женщиной в том взгляде.

Вечерами я обычно ходила в кино. На ногах—шерстяные носки и калоши, руки пахнут земляничным мылом, в одной руке зажат сложенный салфеткой хрустящий носовой платок, в другой — запотевший двугривенный — и айда! Битком набивался этот старый-престарый клуб со всеми своими закоулками, каждый кирпич его лоснился. Тот мальчик со жгучими глазами сидел за моей спиной. И глядел, глядел на меня...

Однажды на балконе я жарила себе яичницу с луком и жадно поглядывала на сковороду, потом, схватив два маленьких камня, подложила их под ушки сковородки, повернулась, и, о боже, — тот мальчик! Стоит со взваленным на спину мешком и смотрит на меня. Сковородка не выпала у меня из рук, нет, я швырнула ее вниз и бросилась в дом. Из окна я увидела, как он ушел. Когда я вышла наружу, у покосившегося столба балкона лежал мешок с пшеницей—оказывается, это мама с ним прислала.

Я заплакала что-то (что именно, не могу сказать), чему помочь было уже невозможно. Потом неторопливо и очень женственно, но все же отделила от яичницы с луком уцелевший верхний слой и с аппетитом съела его. При этом я утешала себя тем, что стояла

спиной и он не мог заметить моей жадности. Но в тот вечер в кино я уже не пошла.

В тринадцать лет я справилась о своем отце; увидев его впервые, я подумала — ведь я знаю этого человека, и ведь знаю и то, что это мой отец. Потом я пошла в конец бахчи и примостилась на моем инжире. Прости, умолял меня тот человек, прости меня за то, что без меня голодала, без меня мерзла, без меня превозмогала боль. Я плакала и была благодарна, не знаю кому или чему, что так сладостно ныла моя душа. При этом я любила, любила того человека, моего пристыженного отца.

Когда я впервые его увидела, он сказал мне: — Хочешь, я буду твоим отцом? Хочу, — ответила я. — Ну и артистка, эта сукина дочка, — захлестнуло его раздражение при звуке моего нарочитого голоса. Потом он раскрыл кожаный бумажник и разложил передо мной, как карты, трехрублевки. Поделим? — пошутил он. Не хочу, — сказала я, чувствуя, как дрожат мои острые коленки. Может быть, мало? — спросил он. — Так вот знай, я никогда не смогу сделать для тебя столько, сколько твоя мать. Совсем не мало, что вы, но я не хочу! — повторила я. Когда старшие дают, ты должна взять, — и он вложил те трехрублевки в книгу, книгу протянул мне и выпроводил. Я сосчитала их, вошла в магазин и на все деньги купила какое-то кошмарное платье.

В соседском марани я ложилась обычно у края квеври и читала в пустой квеври стихи. В тот день, приблизившись к дому, я почувствовала, что на меня обрушилось непереносимое несчастье, вбежала в тот соседский марани и упала на земляной пол у самого края квеври (под животом у меня лежало завернутое в газету новое платье):

Плачь, мать,

Плачь, отец,

Плачьте, мои друзья...

Но не плачет мать,

И не плачет отец,

И не плачут мои друзья...

В квеври со звоном падали слезы. В конце бахчи тщательно ждал меня мой инжир, но я уже не смела подойти к нему.

Отчего же я плачу теперь?

Летом что-то непременно кончалось, и упавший на землю лист бесстрастно вводил нас в преддверие осенней тишины.

Осенью дожди приносили подлинный покой, живительным бальзамом исцеляющий всякую боль.

Зимой в снегу уже не видно было нашей грязной, покосившейся лачуги, снег основательно окутывал нас.

Мне кажется, что мне очень идет мое усталое сердце, и втихомолку я даже этим горжусь.

А ты взгляни на меня, разве не идет?.. Дорогой, дорогой мой...

БРАТ

Кто-то, видимо, прошел по твоей чистой душе!

Галактион Табидзе

Всего лишь одна пара стаканов согрела продрогшую душу Гивило. Он замер. Холод одиночества уже не так гнетет его — висящая напротив, в уголке у окна, крохотная подушечка с иголками точно улыбается ему, с нежностью глядит на него с подоконника красная мальва.

— Кушай, сынок, пей, — уговаривает его мать Элгуджи. Гивило душит благодарность к ней, и он мечтает стать единственной надеждой этих людей...

«Хоть бы эта сильная женщина была моей матерью, хоть бы была... такая невозмутимая и надежная. Она испекла бы для меня лавашей в тонэ, открыла бы квеври с вином, клялась бы мною».

На дворе задыхается весенний чахоточный день. Желтое битое стекло в каменной ограде сверкает, как в радужном сне. Незрелая яблоня украшает себя высохшей ветвью, словно страданием. Меж ветвей застряло птичье гнездо. Гивило видит все: конечно, теперь черта с два я дам себя в обиду, конечно! — радость странно кольнула его и он, счастливый, произносит — конечно!

В конце апреля бабушка вынесла жестяную печь на балкон, и теперь ее топят там. С одной стороны к печке подсел слегка опьяневший Гивило, с другой — прия-

мо на полу примостилась Тиния, маленькая девочка. У самой лестницы улеглась Мура. Там же, на столбе балкона, висит, словно символ надежды, черный штапельный передник бабушки с оборванным карманом и налипшими листьями фасоли.

Тиния ест молоко с крошенным туда хлебом, сопя и уставившись в миску, намеренно не смотрит в сторону Гивило. Поминутно забирает за ухо белокурые прямые волосы и шмыгает носом.

Гивило ласково глядит на Тинию. Ему нестерпимо хочется провести рукой по этим гладким волосам, приласкать ее, но он сидит и трусливо, тошнотворно улыбается.

«Тин, я брат твой, и я люблю тебя! Хочешь, возьму тебя на руки и понесу; потом, когда созреет ежевика, буду ходить за ежевикой, созреет кизил — за кизилом, и куплю тебе, чего только захочешь, — ты поняла, Тини-бини, Тини-бини?» — повторяет он в душе. Сказать же ничего не может, — куда ему, где взять столько сил...

Тиния довольно долго скребла ложкой по пустой миске, потом робко задвинула ее под печь и спрятала руки. В уголках ее губ едва заметно подрагивала упрямая улыбка.

Неожиданно для самого себя Гивило вдруг выпалил:

— Если хочешь, живи у нас! Матери твоей чтоб я не видел, а ты оставайся!

Тиния сидела, подложив под себя руки, и смотрела куда-то в сторону, но улыбка теперь застряла в уголках ее губ. Гивило, как огня, боялся этой улыбки.

— А нет, так и сама убирайся! — завопил он вдруг. — Чего тебе здесь надо! Если она хорошая мать, как родила тебя, так пусть за тобой и смотрит! — Потом вскочил, поддел ногой стоявший там же маленький стул, швырнул его о стену и, словно во дворе не было ворот, перескочил через забор.

Мура стояла у лестницы и, приходя в себя, лениво отряхивалась. Тиния от всей души плакала. С наслаждением облегчалось ее набухшее слезами сердце.

— Ты что, девочка, все время плачешь? — соседка поставила на балкон «литровку» и, не взглянув на нее, пошла обратно.

— Не твое собачье дело! — закричала девочка.

— Чтоб тебе провалиться! Ну и дрянь же растешь!
— донесся из-за калитки голос соседки.

Тиния спустилась вниз и залезла под балкон. Там обычно спала Мура и пахло псиной. Под балконом было место Тинии. Присев у стены, она запричитала: Ой, мамочка, умираю!—От этих слов ей сделалось еще горше. Сидела она и плакала. Перед глазами стояла мать со сложенными на коленях руками. Тиния воочию видела трепещущую у горла жилку и тосковала, тосковала по матери и жалела ее — у матери не оставалось ничего, кроме того, что она как-то по-особому носила синее шифоновое платье и восхитительно читала стихи (сейчас это синее шифоновое платье беспомощно качалось в шифоньере в старом деревенском домике).

Потом Тиния стала мечтать об оболашвилевском доме с галереей, с красным крашеным полом, плодоносящим лимоном, полноправной владелицей которых была бы она сама. Изумленная мама увидела бы, как спускается Тиния по лестнице двухэтажного дома в красивом красном развевающемся платье, и позвала бы ее ласково — Тинико!

Вспомнилась ей Саломэ Джавахишвили, с которой она нынче утром робко и почтительно поздоровалась, а та не удостоила ее ответа.

Ну, чем я провинилась перед нею, что ей стоило сказать мне: «И ты будь здорова, дочка».

Тиния мечтала, чтобы Саломэ, идя за водой, поскользнулась и сломала ногу, посмотрим тогда, как она пройдет, пританцовывая, и не скажет ей «здравстуй».

Спустя много времени Тиния вылезла из своего убежища. Все вокруг было другим. Очень скоро кончился день, который навсегда остался в ее больной душе.

Позднее, когда Гивило возмужал, каждый раз, вспоминая эту историю, он испытывал чувство такого стыда и неловкости, какое испытываешь обычно, когда твоя протянутая для рукопожатия рука повисает в воздухе без ответа.

Перевод Софии ГЕЛАДЗЕ

Х Л Е Б

РАССКАЗ

Есть в Грузии уголок, который особенно дорог моему сердцу.

Это — село Квишхети.

Может, потому, что там я — дитя города, мостовых и зарешеченных окон, впервые почувствовал прелесть вольной природы, а может, по другой какой-либо причине (разве знаешь, за что любишь!), но это небольшое картлийское село занимает в душе моей особое место.

Квишхети и прилегающий к нему поселок Ташискарри раскинулись у подножья Сурамского хребта. Если смотреть на село сверху, то крыши домов, покрытые мелкой грузинской черепицей, кажутся вкрапленными в огромный зеленый изумруд, от которого дугами расходится разноцветное сияние; золотом колышется пшеница, серебрятся, выгибаясь, рельсы, бирюзой трепещет река, а дальше в бесконечность уходят зеленым луга.

Таким было Квишхети в лето сорок девятого года, когда родители привезли меня сюда, чтобы я набрался сил перед поступлением в школу.

Детские ясли, в которых работала моя мама, арендовали на лето несколько крестьянских домов, и мне с еще несколькими детьми сотрудников было разрешено столоваться вместе со всеми.

Для семилетнего мальчишки деревня — это неисчерпаемый источник открытий, повседневных, ежечасных, ежеминутных. Калейдоскоп впечатлений, порой необычайных, волшебных, огромное море неизведанного будоражило мое по-детски жадное сознание.

Пестрота впечатлений от всего увиденного за день не отпускала меня и во сне, и сон наутро казался явью, а явь казалась волшебным сном.

Все впервые!

Впервые я увидел, как доят корову.

Впервые сидел верхом на коне.

Впервые ел яблоки, срывая их прямо с дерева.

Впервые заглянул в жуткую глубину колодца.

Впервые, впервые, впервые...

Все было впервые! Даже знакомое, не раз виденное, воспринималось как-то по-иному.

Прошел месяц и деревня стала для меня родным **ДОМОМ**.

О гостеприимстве грузин, о их доброжелательности к гостю говорить не приходится, но в картлийцах, по моему, воплощены все добродетели этого гордого и древнего народа.

Да простят меня за эти слова жители других уголков прекрасной Грузии!

С утра до позднего вечера стайкой носилась детвора по всей деревне. Перелезть через плетень, сорвать грушу или огурец в чьем-то саду и съесть там же, сидя в тени под деревом, было делом обычным.

«Чамет, швилебо, чамет! Гмертма шэгаргот!»,¹ — скажет хозяин сада, случайно наткнувшись на весело хрумкающую компанию, и пойдет по своим делам.

Солнечные лучи, налитый хвоей воздух, густой, как мед диких пчел, вода, живительная, словно буйволиное мацони, сделали свое дело. Я окреп, загорел.

Из памяти безвозвратно ушли горящие дома, вой сирен... Холодные вечера у железной печурки, в которой трещали дощечки от письменного стола...

Окна, забитые фанерой...

Сырые кирпичики черного, строго рассчитанного хлеба: это на утро, это на вечер, а это на завтра...

Хлеб!

Слишком рано узнали мои сверстники цену хлеба!

Не ту цену, которая исчисляется купюрами или карточками, а цену самого существования хлеба!..

Наша шаловливая стайка, кочуя по деревне и ее окрестностям, конечно же, посещала и пшеничные поля.

¹ Ешьте, дети, ешьте. На здоровье (груз.).

Здесь я всегда отставал от ребят — нива непонятно волновала меня. Этот тихий шепот волнующегося золотого моря, видно, вызывал во мне смутные воспоминания о другом море — голубом, оставшемся где-то далеко, за перестуком вагонных колес, где-то в прошлом, уже подернутом туманом.

Сидя на корявом корне придорожного дуба, я подолгу смотрел на мерное колыхание тяжелых колосьев.

«Как много хлеба! Много-много! Теперь всем хватит. У всех теперь будет хлеба вдоволь! И на булки останется! И даже пироги можно будет печь!.. Только пироги надо печь по воскресеньям, а то может не хватить!» — размышлял я, сидя в тени векового дерева.

Разливалась золотом пшеница... В траве, у моих ног, суетились муравьи, ползали божьи коровки, стрекотали кузнечики. Из глубины пшеничного поля доносился пересвист перепелов.

«Вот соберут хлеб, — продолжал я свои размышления, — размелят и получится мука. Пуши-и-стая. А потом будут печь хлеб! Горячий, горячий! Положишь на него кусок масла, а оно забегает по хлебу — туда, сюда, туда, сюда! Зазеваешься — и нет масла!».

А хлеб дымом пахнет. В носу щекотно, аж слезы текут.

Очень вкусный хлеб получается в тонэ. Лавашом называется.

Как-то раз я, нарушив строгий запрет взрослых, ухитрился заглянуть в пышущее жаром чрево печи, а там лаваша по стенкам налеплены, а со дна дымок вьется. Жарко — ужас! У меня даже волосы на голове зашевелились.

Да, вкусные лаваша получают в тонэ!

— Ну, до свиданья, пшеничка! Раста большая - пре-большая!

Я вскакиваю и мчусь по проселку через железную дорогу к Қуре, где моя голозадая братия уже плещется на мелководье, визжа от удовольствия и холода.

Лето было в полном разгаре. Дни стояли ясные, жаркие. А с заходом солнца заботливый добрый лес приносил людям успокоительную прохладу.

Я проснулся сразу, словно от толчка. Что-то непонятно встревожило меня.

Но все было спокойно. Тикали ходики, мерно дышали во сне домашние, снизу доносились тихие вздохи коровы, в разных уголках двора звонко трещали цикады.

Я постарался заснуть, но не смог. Что-то мешало, что-то тяжелое, непонятное, полузабытое...

Вдруг я вздрогнул, съежился. Издалека, от железной дороги, от хлебных полей, сквозь закрытые двери, до моего напряженного слуха донесся гул. Я сразу узнал его. Так гудели танки на Севастопольском шоссе!

А до этого горели дома, и плакала мама.

А потом не было хлеба и дров...

Танки?!

Я соскользнул с лежака и выскочил на балкон.

Низко, над самой крышей, цепляясь лучами друг за дружку, хороводили звезды.

Шелестела густой листвой тута.

Я влез на перила и, крепко обхватив балконный столбик, стал напряженно вглядываться в густую черноту ночи.

Там, где были хлебные поля, двигались огни.

Ревели моторы.

Вспыхивали и тут же гасли желтые лучи прожекторов.

Я все плотнее прижимался к столбу, не чувствуя холода остывшего за ночь дерева.

Гулко закашлял, закричал Алиа-папа¹, вышел из-под навеса, посмотрел на поля, на небо, увидел меня:

— Ты что это там делаешь, постреленок?

— Алиа-папа, это что? Там...

Видно, по моему голосу мудрый старик понял, что творится в моей душе, вынул изо рта трубку:

— Не бойся, сынок! Это убирают хлеб! Комбайны это! Понял? Хлеб собирают! Там сейчас кипит работа! Понял, милый?

Я вздохнул радостно и облегченно.

— Ну, иди, спи! Утро скоро...

¹ Папа — по-груз. дедушка.

И как бы в подтверждение его слов, закукарекал, захлопал крыльями петух.

Гулко стукнуло о землю упавшее яблоко.

Со стороны леса закрипела арба.

Никого не пугая, лениво лаяли собаки.

С полей доносился веселый гул.

Люди убирали хлеб.

Утром у меня поднялась температура и, хотя скорее всего она была реакцией на тревожную ночь (к вечеру температура спала), меня все же уложили в постель на целых три дня.

Три самых мучительных дня в моей жизни!

Но вот наконец истек срок моего заточения. После завтрака меня еще раз, на всякий случай, пощупали, постукали, послушали и отпустили на волю.

Мальчуганы из нашей компании отправились в это утро на железную дорогу, плющить гвозди.

Мы условились, что они будут ждать меня у шлагбаума.

Засунув в карман заранее припасенный гвоздь, я поспешил к месту встречи.

Дорога шла через хлебные поля к станции.

Перекинув сандалии через плечо, беспечно шагал я по дорожной пыли, которая немедленно покрыла мои босые ноги до самых колен желто-серой паутиной.

Из далеких известковых карьеров доносился визгливый крик дрезин, а в вышине, в самой середине ярко-синего неба, неподвижно висел черным крестиком глазастый коршун.

Несколько раз по дороге встречались мне пыльные раскаленные «полуторки». Ревя моторами, проносились они мимо, и я, зажмурившись, на ощупь выбирался из густого облака пыли, протирая глаза, смеясь, грозил кулаком им вслед и продолжал путь.

Я подошел к своему любимому дубу — из четырех растущих вдоль дороги деревьев почему-то именно этот дуб нравился мне больше всех.

Стоя на его корневище, я мог обозреть все поле до самых далеких гор. Там гудели тракторы, раскачиваясь, двигались черные коробки комбайнов, а ближе, метрах в двухстах, виднелись фигуры работающих крестьян.

Мне захотелось пить и я, найдя тропинку в хлебах, пошел к людям. Через сотню шагов пшеница вдруг кончилась: перед моими ногами щеточкой тянулось голое поле.

Я ступил раз, другой и, ойкнув, остановился. Острые, почти под корень срезанные стебли больно кололи ноги, пришлось надеть сандалии.

В жидкой тени корявой дикой черешни несколько мужчин дымили папиросами, в стороне около телег копошились женщины, а прямо передо мной, по небольшому ровному кругу, ходили на одном месте два пятнистых вола, стучаясь рогами.

Я подошел ближе.

Круг был засыпан толстым слоем скошенной пшеницы. Волы ходили по кругу, таща за собой плоскую, тяжелую, размером с калитку, доску, из загнутого конца которой торчали острые камни. На доске сидел незнакомый мне взрослый парень с бородавкой на щеке.

«Что это они делают?» — подумал я и вдруг, когда доска проехала мимо меня, увидел под стеблями золотистую россыпь пшеницы.

— Они топчут пшеницу! — я был обескуражен. — Зачем? Ведь это хлеб!» И не веря своим глазам, я ступил на мягко поддавшийся круг, опустился на колени и сбросил сухие стебли...

Пшеничные зерна ровным слоем устлали землю!

Зачерпнув обеими руками зерно, я поднял голову. Прямо на меня двигались ничего не видящие, одурманенные движением по кругу, огромные быки. Что-то кричали люди, бегущие ко мне.

Парень, соскочив с доски и забежав впереди волов, изо всех сил хлестал их палкой по рогам.

Волов остановили.

Меня окружили люди.

Громко ругали, размахивали руками.

Я весь трясся.

Не в силах произнести ни слова, я только протягивал то к одному, то к другому руки с сжатыми кулачками, из которых сыпалось зерно.

— Зачем вы?.. Это ведь хлеб!.. Зачем?!..

Я забыл все грузинские слова и даже слово «пური» — такое знакомое слово, исчезло из памяти.

— Не надо! Дайте этот хлеб другим! Зачем вы так?!

Я не видел ничего, слезы, смешавшись с пылью, жгли глаза. Я старался вспомнить, как по-грузински хлеб и вдруг вспомнив, закричал в расплывающиеся передо мной силуэты людей.

— Эс хом пуриа! Пури!!!

Меня подняли, я вырывался. Мне что-то говорили, я ничего не слышал...

Под деревом сидели грузин-хлебороб и русский мальчик.

Темная заскорузлая рука старика нежно гладила светлую головку ребенка.

Между ними была сотня лет, но смотрели они одинаковыми глазами.

Глазами — полными слез...

ХРОНИКА

«ДАР ЛОЗЕ»

В Телави в сентябре прошел традиционный семинар - фестиваль камерной музыки «Дар лозе». Этот форум проводится в четвертый раз. Инициатором его является известная пианистка, народная артистка Грузинской ССР, лауреат международных конкурсов Элисо Вирсаладзе. Семинары будут вести известные музыковеды и музыканты Н. Перельман, А. Штерн, Д. Башкиров, М. Яшвили, М. Ахметели и др.

Среди исполнителей — Э. Вирсаладзе, М. Яшвили, Н.

Гутман, О. Каган, Ц. Квернадзе, А. Михлин, Латвийский камерный оркестр под управлением Т. Лифшица, Госквартет Грузии, Государственный квартет имени Бородина.

Один из концертов решено целиком посвятить музыкальным премьерам. На нем прозвучат произведения В. Мартынова, Ю. Буцко, Н. Каретникова, Т. Мансуряна и других. Фольклорный концерт состоится в Икалто. И, как всегда, участники фестиваля встретятся с труженниками Кахетии. Фестиваль завершится 15 сентября.

В места родные возвратясь...

Стою среди гор и взираю окрест:
древнейших родов сладок памяти дым —
тут столько известных ремеслами мест!..
И каждое славилось делом своим.

Здесь жили Дзугаевы крепкой семьей —
Дзомагской горы длань хранила их дом...
На горький пустырь синь течет с тишиной,
тучнеет трава тут по пояс кругом.

А там вон, напротив, Касаевых кров...
Все делалось прочно, навечно и впрок.
Цховребовых, Плиевых, горских сынов —
родительский здесь начинался порог.

В земле этой горцев и слезы, и пот.
И горец для друга не прячет любви,
здесь каждый за друга на гибель пойдет —
не зря же мы носим папахи свои!..

Но где они нынче? В походе каком?
Куда пастухи перегнали стада?
Я помню: обрушился горестный гром,
и черною тучей нависла беда.

И все они, дети единой земли,
ушли — чтоб собой защитить отчий кров.
И гасли их песни прощанья вдали —
в долину спускаясь из-под облаков...

Из бойни той страшной вернулись не все.
О, сколько война разорила дворов!..
Стоятobelisksi в рассветной росе
над вечным покоем прекрасных сынов.



ОАКЦИОННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

А те, что вернулись, спустились из гнезд —
ремеслам их мирным в долине почет.
И только ночами на крыши от звезд
сиянье вершинное грустно течет...

— Зачем вы покинули предков очаг? —
окликну своих земляков среди гор.
Дома городские в долинах молчат...
И думами полон могучий простор.

Вернитесь, сыны знаменитых родов,
под кровли отцов, воскресите очаг,
украсьте садами пустынную дворов,
чтоб рода родник среди гор не зачах!

Вспашите поля и посейте зерно.
Ужели вам доблесть отцов не урок?
Ведь рано иль поздно, но вас все равно
потянет к себе позабытый порог.

Достаньте котлы легендарных пиров
и пиво сварите, как ваши отцы.
Пусть слава отцов через доблесть сынов
во все разлетится земные концы!

Перевод с осетинского Николая ГОРОХОВА



Предостережение

Элегия

Я смотрю на тебя каждый вечер
и не перестаю удивляться,
как ты от меня далека,
как далека и желанна.
Ты мне грезишься с колыбели,
и я стремлюсь к тебе всю свою жизнь,
а идти до тебя надо тысячи жизней.
Ты — мой свет,
ты — мой единственный путь,
ты — моя неугасимая любовь!
Сколько вокруг меня близких,
ослепительно ярких
искусственных звезд!
Они делают все, что в их силах,
чтобы как-нибудь угодить мне,
сокращая мой путь,
создавая иллюзию
раз и навсегда достигнутой цели.
Я прощаю им их низкопоклонство,
ибо нет в них души
и неведомо им,
что я люблю свет далекой звезды...

Предостережение

Мое сердце,
настроенное на все волненья земли,
приняло слабый ропот листьев земляники
и тут же, во всеуслышанье,
перевело на языки планеты.
«Нет уже сил, чтобы вынести то,
что с нами творят твои братья.
Не за горами то время,

когда ты будешь долго, тоскливо
искать нас глазами,
чтоб показать своим детям и внукам.
Но не увидишь нигде
ни наших красных душистых ягод,
ни трепетно белых цветков,
ни зеленых листочков
в ожиданьи весны...»



* * *
Человек — не хозяин природы,
как ни с того ни с сего
он возомнил о себе,
а ее до поры до времени
званный гость;
и он может, конечно,
быть в ее доме, как дома,
не забывая однако,
что он — в гостях...

Будда

Он ушел от людей безвозвратно,
передав им на вечное пользование
весь подлунно-подсолнечный мир,
как будто в запасе у него
еще было не менее тысячи солнц,
из которых в течение времени
он, видимо, будет нам уступать
одно за другим...

Кавказ

Могуч, почти непроходим ты.
В своих объятьях братских
ты долго бога держал,
хоть удержать не смог.
Но дух его остался
в твоих ущельях
и всюду слышен до сих пор...



Латифшах БАРАТАШВИЛИ
Клара БАРАТАШВИЛИ



МЫ—МЕСХИ

Когда возникла опасность проникновения фашистов на Кавказ, в погранотрядах начали подготавливать небольшие группы, которые должны были стать во главе партизанских отрядов. Группа должна была быть мобильна и уметь быстро принимать решения. Учения проходили в Аджарских горах, были трудными, но за короткий срок удалось подготовить несколько

ОТ РЕДАКЦИИ

В газете «Труд» от 8 сентября 1988 года была напечатана статья специального корреспондента В. Галенкина «Честное имя». Статья эта, написанная о честном имени, нам показалась не совсем честной. Во-первых, потому, что она писалась, как видно из соответствующей приписки, в Москве, Ташкенте и Андижане, а говорится в ней о так называемых «советских турках», которые проживали в Грузии, и об отношении к ним грузинского населения, а в Грузию специальный корреспондент не удосужился приехать. Во-вторых, он не счел нужным самому разобраться в вопросах истории Грузии и позволил себе опереться на неверные и противоречивые представления героя своего очерка Ислама Сулейманова. Однако нас больше удивляют не рассказы сельского труженика, а «редакционные справки», полные невежества и тенденциозности. Первая же «справка» содержит такой курьез: «Месхетия—Джавахетия — один из регионов Грузии. Он был населен грузинами и турками». Отметим историческую неточность: та часть исторической Месхети, которая находится в границах Грузинской ССР, включает в себя два региона: Самцхе и Джавахети (Ахалцихский, Адыгенский и Аспиндзский районы — это Самцхе, а Ахалкалакский и Богдановский районы — Джавахети). Но это деталь, хотя и важная с исторической точки зрения. Говорить о том, что регион «Месхетия

Продолжение. Начало см. в № 8.

боевых групп. В моей группе было пять теоретически грамотных и физически подготовленных человек, и я гордился ими.

Летом 1942 года меня вызвали в погранотряд и сказали, чтобы завтра утром я прибыл в район и ждал в определенном месте. Я привык не задавать лишних вопросов, но спросил, как мне одеться — идя на задание, я всегда переодевался.

В назначенное время я ждал у будки. Подъехал грузовик, из кабины прыгнул подполковник Растреев. «Извините за опоздание», — сказал он. Я взглянул на часы — он опоздал всего на минуту. Мы забрались в кузов, и машина тут же тронулась.

На вокзале мы сели в общий вагон и утром были в столице. Там пересели в фаэтон. Доехали до какого-то учреждения. Растреев попрощался со мной и исчез. В гостиницу «Тбилиси» меня проводил незнакомец и оставил в двухкомнатном

и Джавахетия» «был населен грузинами и турками» нельзя. Очевидно, уважаемый автор «редакционной справки» не знает о том, что настоящие турки (не по религии, а по национальности) в Месхети не проживали, если не принимать за них терекеминцев — тюркское племя кочевников-скотоводов, малочисленные группы которых в Грузии, именно в Месхети, осели с XVIII века.

Вторая и третья «редакционные справки», правда, разбавлены рассказом И. Сулейманова, но не настолько отдалены друг от друга, чтобы не было заметно смехотворного противоречия: в первой справке говорится, что «было призвано на войну 40 тысяч человек этой национальности», а во второй сказано: «Всего было переселено 110 тысяч». Во-первых, разве возможно призывать в армию почти 40 процентов населения? Ведь половину населения составляют женщины. А мыслимо ли другую, мужскую половину представлять себе без стариков и детей, сплошной массой мужчин призывного возраста?

Но прежде всего, «справка» неверна с фактической стороны: выселено было всего не 110 тысяч человек, как указывается, а 125 тысяч человек, из них 115 тысяч грузин-мусульман (месхов-мусульман), 7 тысяч терекеминцев и 3 тысячи курдов.

С товарищем И. Сулеймановым мы спорить не собираемся, хотя и в его рассказе много неверного. Никто не имеет права не уважать национального самосознания человека и, тем более, переубеждать его. Товарищ И. Сулейманов считает себя турком, чувствует себя турком и хочет быть турком. И он, в

номере. Перед уходом он вынул пачку денег и предложил мне. Я отказался и спросил, какое меня ждет задание. Незнакомец вдруг подмигнул: «Поднимись на фуникулер, разведись познакомиться с девочками...» Я пожал плечами — если это была провокация, то слишком откровенная.

Я не выходил из номера, ожидая дальнейших указаний. Только на третий день меня навестили — опять знакомые мне люди — и ушли, так ничего и не поручив.

Я аккуратно, как на службу, поднимался на фуникулер, прохаживался, вглядываясь в лица. На Мтацминда было по-прежнему хорошо, но на душе у меня было беспокойно.

Через несколько дней ко мне подошел человек. Мы разговорились. Он представился бакинцем, сказал, что приехал по делам. Я отвечал односложно — разведка приучила меня говорить мало. Бакинец предложил выпить за знакомство. Мы выпили, немного поговорили.

силу этого, безусловно турок. Но ни он, и тем более, ни редакция не имеют права по своему усмотрению определять национальность других людей. Если можно понять Сулейманова, который как турок хочет считать всех выселенных из Грузии соотечественников турками, то чем объяснить такую же позицию В. Галенкина или редакции? Вот «редакционная справка»: «Сегодня в связи с решением партии и правительства турки начали переселяться на родину. Более сотни семей уже переехало». Кто они, турки? И как на это смотрят те сто семей, переселившиеся в Грузию? Кто дал право В. Галенкину и редакции считать этих людей теми, кем они себя не считают? Они считают себя грузинами, они и есть грузины. И никто не имеет права убеждать их!

С другой стороны, если товарищи так уверены, что в Грузии «укоренилось мнение» и население не хочет видеть «турок», и если, несмотря на это, «турки» должны возвратиться и никто не вправе помешать им, то кто вправе навязать Грузии то, чего она, по представлению И. Сулейманова и В. Галенкина, не хочет? Разве грузин имеет меньше права на свою родину?

Вызывают возмущение в этой публикации такие бесспорные «суждения», как «в Грузии твердо укоренилось мнение, что нас выселили за сотрудничество с Турцией, и местное население не хотело нас видеть» (это слова И. Сулейманова) и «в Грузии среди местного населения бытует неверное мнение, что турки были репрессированы небеспричинно» (это слова из

Как-то днем я задремал в номере. Мне приснилось, что я секретарь партийной организации, и меня предупредили, что вот-вот должны нагрянуть турки, чтобы забрать меня и заполнить списки коммунистов; я открыл сейф, достал списки и намеревался сжечь их, но в это время в дверь загрохотали и в кабинет ворвались двое вооруженных. Я проснулся в холодном поту. В дверь барабанили на самом деле. Я, ругаясь, открыл дверь. Двое незнакомцев удивились — в чем дело? Я рассказал им сон. Они рассмеялись. «Хорошо, — сказал один по-русски, — ваше обучение закончено. Растреву сообщите, что человек, который должен был заниматься с вами, не явился. Вот ваш билет до Боржома».

Я в большом недоумении вернулся в Удэ и доложил обо всем Растреву. Он почему-то улыбнулся. Моя жизнь пошла по обычному руслу — работа в школе, вылазки на турецкую

«редакционной справки»). Это ложь! (Называем вещи своими именами). В. Галенкин не знает и не может знать, какое «мнение бытует» в Грузии, «Москва—Ташкент—Андижан», пункты его творческого вдохновения, не могут ему гарантировать ясность в этом сложном вопросе. Основная масса выселенных из Грузии, свыше 90 процентов, была грузинским племенем месхов, отличавшимся от всех других грузин только мусульманской верой, насильственно навязанной Турцией в XVI—XVII веках... Но об истории мы не будем распространяться, о месхах читатель может узнать многое из нашей публикации «Мы — месхи», и В. Галенкин найдет там много поучительного, — если он не из тех журналистов, которым все равно, о чем они пишут.

Следует сказать еще вот о чем. Во время войны из Грузии были переселены не только месхи или «турки», как их называет спецкор «Труда», но и целые группы немцев, греков... Интересно, почему ни один из них не считает сейчас Грузию своей родиной, а всполошились вдруг лишь турки? Почему это только им Грузия представляется их родиной? Причем, именно пограничная с Турцией зона, а не остальная Грузия?

Напрасно кажется товарищу В. Галенкину, что он одним росчерком пера из Москвы может решить наши «мелкие» национальные вопросы. Жаль, что и редакция газеты «Труд» не помогла ему, не подкрепила журналистское рвение научным подходом.

Вот какое мнение «бытует» в Грузии об этой публикации газеты «Труд»!

сторону. Подполковник стал относиться ко мне еще лучше. И я однажды попросил его похлопотать о моем приеме в партию. За это время я несколько раз подавал заявление, но мне каждый раз отказывали, ссылаясь на чистку в партийных рядах.

«Если меня посылают на задания, — сказал я, — значит, доверяют. А если доверяют, то почему не принимают в партию?».

Растреев обещал помочь и вскоре вызвал меня. «Эфенди, — сказал он по-турецки (а язык он знал превосходно), — на днях меня направляют на фронт. Вот твой новый начальник — подполковник Туманян, он поможет тебе со вступлением в партию». Мой новый начальник, молча слушавший Растреева, кивнул.

Туманян слово сдержал. После моего возвращения с очередного задания он привел меня в Адыгенский РК КП(б), вошел к секретарю, потом вызвали меня. «Извините, что игнорировали ваши заявления», — сказал мне секретарь и виновато посмотрел на Туманяна. На следующем бюро райкома меня приняли в партию.

Таким образом, с 1942 года я состою в рядах партии.

Мне кажется, что в этой части воспоминаний папа мало говорит о Зине — кроме знакомства с ней. Что она делала тогда, как относилась к папиной деятельности, трудно сказать. Там, где я читала о Зине, — много исправлений, дополнений. Чувствуется, что воспоминания о Зине давались папе с трудом. Он несколько раз говорит о том, как трудно было им соединиться — мешали обстоятельства религиозного характера.

Кажется нелепым, что в советской Грузии существовали религиозные барьеры. Тем не менее, это так. Тем грузинам, чьи предки в XVII веке насильственно приняли ислам, грузины-христиане не доверяли, называли их татарами — с легкой руки генерала Паскевича, который, отвоевав Ахалцихский пашалык у Турции, назвал так коренных жителей — чистокровных грузин. Поэтому грузины-мусульмане чувствовали свою обделенность. Это в свою очередь порождало их обособленность. И чтобы мусульманину решиться на брак с христианкой, требовалась определенная смелость и сильные чувства.

Мне известна дальнейшая судьба Зины, и хотя этот рассказ нарушает хронологию, тем не менее, я хочу пересказать его своими словами.

После того, как в 1944 году грузин-мусульман выселили из Грузии в Среднюю Азию, папа с родственниками жил в совхозе Енгиарх Булунгурского района Самаркандской области под над

зором. Жить под надзором означало, что переезд из одного места в другое не разрешался без ведома коменданта. В 1946 году Зина полулегально приехала навестить папу — ее как грузинку-христианку не выслали. Когда она возвращалась в Грузию через Каспийское море, на пароходе у нее украли документы. По возвращении в Удэ Зину вызвали в НКВД и потребовали предъявить документы. Вначале шли просто допросы, угрозы, обвинения в шпионаже. Затем последовали избиения. Несмотря на это, она еще в состоянии была писать папе.

«У меня похолодело все внутри и тряслись руки, когда я читал эти письма, — пишет папа, — но я был бессилён ей помочь. Я не мог выехать даже на километр из своего проклятого совхоза».

Через три месяца пришло сообщение о ее смерти.

В 1957 году, возвращаясь из Москвы, папа заехал к брату Зины, Бениа, в район Абаша. Там он узнал подробности о ее смерти.

Когда Зина вернулась от папы в Удэ, учителя-коммунисты всячески издевались над ней, откровенно швыряя ей в лицо оскорбления.

После допросов в НКВД ее вызвали на бюро райкома партии и учинили очередной допрос. «Кто был ваш муж на самом деле?» «Сколько вам платят за шпионаж?» «Почему вы были замужем за мусульманином?» На эти вопросы Зина отвечала ровно, держалась с достоинством, хотя стоять ей было трудно и лицо заплывало от побоев.

Я так бесстрастно пишу об этом. Сейчас я перечитала и ужаснулась: о чем же я пишу? О средневековой инквизиции или фашистском гестапо? Трудно поверить, что встречи и «беседы» с коммунистами в райкоме партии проходили в такой форме.

Трудно поверить, что партийный работник с 16-летним стажем подвергалась таким гонениям только за то, что оказалась выше религиозных барьеров, о которых в среде коммунистов не должно было быть и речи.

На очередном бюро райкома Зина вдруг пошатнулась и упала. В больнице определили разрыв вен и кровоизлияние в мозг. Это повлекло за собой психическое расстройство. Бениа забрал ее в Абашу, где Зина умерла через три месяца.

Сестра Зины рассказала папе, как ужасны были ее последние дни. Зина бегала по улицам, не поддаваясь ни на какие угрозы, выбегала на шоссе на дорогу, ожидая папу. Домой ее можно было увести, только запугав воронами. Она почему-то их страшно боялась. Но в минуты обострения болезни Зина была

так неуправляема, что никто и не пытался успокоить ее. Злые люди показывали на нее пальцами, добрые — горестно качали головой.

«У меня вдруг перехватило дыхание — так больно мне сделалось, — пишет папа. — Как будто в меня воткнули бебут-ханчар и с каждым словом поворачивали его. Я не мог даже плакать».

О чем тогда думал папа? Может, он вспоминал легенду о трагической любви Асли и Кереме, а может, родное лицо и маленькую родинку под правой бровью?..

Не знаю.

Умирала Зина в ясном уме, знала, что умирает, и папино имя было последним, что она произнесла.

Далее папа пишет: «Молоденькая учительница Раиса Гейдаровна, которую я встретил в 1946 году в Булунгуре, стала матерью моих четырех детей. До совершеннолетия детей я не рассказывал им о Зине».

Да, это верно. Но в домашнем альбоме всегда хранилась фотография — папа с молодой красивой женщиной. Фотография была старинная, овальной формы, наклеенная на плотный картон. Меня почему-то очень волнуют старые фотографии. Я разглядываю костюмы, вглядываясь в лица, стараюсь в тех глазах отыскать предчувствие всех последующих событий. Они еще не знают войны, — думаю я, и в глазах ясность, но что-то все-таки тревожит их. Может, это настроение того дня, когда делали снимок? А может все-таки предчувствие беды?

Маленькими мы подолгу разглядывали ту фотографию. Знали, что это папа. «А это кто?» — допытывались мы у взрослых. И неизменно слышали: «Это Зина». Для нас она просто была Зина — знакомая нам с детства.

Мы разглядывали неузнаваемо молодого папу в вельветовой куртке и молодую женщину с приподнятыми бровями, как бы удивляющуюся, с ласковым спокойным взглядом. И всегда говорили: «Это папа и Зина».

Фотография до сих пор лежит в домашнем альбоме, правда, она пожелтела еще больше, и картон сломался. Но по-прежнему с необъяснимым очарованием смотрят на меня молодой папа и молодая красивая женщина.

Ноябрь 1944 года

Вот уже несколько дней в Удэ объявлено особое положение.

В школе были отменены занятия — там на постое стояли

солдаты. Здание школы находилось напротив дома, в котором временно жили мы с Зиной. Я со дня на день ожидал вызова — много солдат, особое положение, наверное, вступаем в войну с Турцией. А перед военными действиями, думал я, в горы пойдет разведка.

Хозяйство наше было небольшим. Недавно у нас появился годовалый козленок. Я хотел повесить ему на шею жестяной колокольчик, но не нашел и обвязал шею красной ленточкой.

14 ноября под вечер я почувствовал какое-то беспокойство. «Зина, — сказал я, — чувствую, мне не суждено увидеть этого козленка козлом. Давай-ка я зарежу его». Зина не соглашалась, но я настоял на своем.

Пошел в угол двора. Крепко связал козленку ножки, стараясь не встречаться с его тоскливым взглядом. Через полчаса я подвесил тушку над порогом и начал ее свежевать.

В школе напротив вдруг зашумели: солдаты стали выглядывать в окна, потом на заднюю половину дома прошли несколько военных — там жил хозяин дома, самогонщик.

Я разжег очаг. Когда огонь спал, я разгреб угли, нанизал мясо на вертел и стал покручивать его. Мясо розовело, раскаленные угли вспыхивали голубыми искрами от стекающего жира; я смотрел на ленивое полыхание углей, а на душе по-прежнему было тревожно. Почему-то всплыло лицо Назима — нежное веснушчатое лицо моего двоюродного брата. Это была первая наша потеря в 41-м году, и я до сих пор не мог с ней смириться.

От Баттала недавно пришла весточка — бодрое письмо, но пишет, что очень холодно, пальцы примерзают к стволу и он недавно содрал кожу на ладони.

Когда розовая корочка покрыла куски мяса, лицо у меня пылало от жара. Я прислонил вертел к стене и потер щеки. Потом сходил за чачей. Поднял Зину — она уже несколько дней лежала простуженная — и мы поужинали. Тревога не покидала меня.

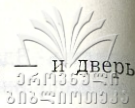
Где-то в 5 часов утра раздался резкий стук в дверь, потом в окно. Я вскочил, стал напряженно всматриваться в темноту. Сердце бешено заколотилось. Вот оно! Только спокойно. Перевел дыхание.

— Кто там?

Кто-то крикнул по-русски:

— Именем Советского правительства, откройте!

Я узнал голос вертлявого лейтенанта, который приходил за чачей к хозяину дома.



— Не знаю, кто вы такие, — резко ответил я, — и дверь я вам не открою.

— Откройте, иначе разобьем дверь!

— Ваше дело. Порядочные люди приходят днем.

Тут ко мне обратились по-грузински:

— Батоно Латифшах, вы не узнаете меня?

Я узнал. Это был голос моего десятиклассника Петрэ. Он был членом сельсовета.

— Откройте, пожалуйста, дверь, — странным тоном попросил он, — все равно уже ничего не поправить.

— Подождите минутку, только оденусь.

Стал торопливо одеваться. Сказал Зине, испуганно приподнявшейся с постели: «Ничего опасного, это из сельсовета».

Вошли лейтенант, двое рядовых и два моих ученика.

— Оружие есть?

Я покачал головой — оружие я сдавал в погранотряде сразу после задания. Солдаты обыскали дом, похлопали по карманам, вытащили перочинный ножик. Потребовали паспорта. Прочли в моем: «азербайджанец». Офицер сказал: «Вас высылают. Собирайтесь. Еды возьмите на три дня. На сборы — два часа». Зина протянула свой паспорт. Там было написано: «грузинка». «Жена?» Зина кивнула. «Вы можете остаться. Вас не высылаем».

Я спросил: «Одеваться тепло?», все еще думая, что меня ждет переход через горы, и подумал: «Странный вызов!». Раньше я просто получал мобилизационный листок и являлся на погранзаставу. Что за конспирация? «Обыкновенно одеваться», — ответил лейтенант, и они вышли, хлопнув дверью. Один солдат остался стоять у двери. Зина вопросительно смотрела на меня.

— Тебе лучше остаться, — сказал я, — переедешь в наш дом, присмотришь за ним. Не знаю, где я буду. Как только устроюсь, пришлю вызов.

Зина стала снова накрывать на стол. Я достал стаканы. Жестом пригласил солдата отужинать. Он потоптался, покосился на свое оружие, потом сел, положив его на колени. Я произнес тост. Потом еще. Когда мы все доели, Зина стала укладывать вещи, а я вышел во двор. И тут я все понял.

Село тревожно гудело. Мелькали то тут, то там огни, хлопали двери, ревела скотина. Я прошел вслед за военными к соседям.

Старуха с непокрытой головой сидела на матрасе и непонимающе, с ужасом смотрела на происходящее. Посередине

комнаты среди разбросанных узлов стояла молодая женщина и все пыталась накрутить конец лечека¹. Руки у нее тряслись. Неделю назад она получила похоронку на мужа.

Солдаты быстро перебирали матрасы: рылись в сундуке. Посыпалась крупная кукуруза. Один для чего-то поковырял в камине и стукнул ногой по треножнику.

Пятилетняя девочка с красивыми круглыми бровями, обхватив мать за колени, истошно вопила. Две стриженные головки свешивались сверху.

Солдаты потребовали, чтобы я объяснил женщине что к чему: русская речь была ей непонятна.

Я оторвал девочку от матери и взял на руки. Не переставая реветь, она судорожно вцепилась в меня. Как можно спокойнее я сказал вдове: «Собери все ценное и теплое. Еды побольше. Только побыстрее. И не бойся». Потом подошел к старухе и громко сказал: «Оденьте детей, они замерзнут», — и опустил девочку с рук.

В каждом доме происходило подобное. С солдатами уже ходили переводчики — односельчане-католики. Паспортов на селе почти ни у кого не было. Поэтому переводчики формально спрашивали: «Мусульманин?» Старухи кивали: «Да, сынок, да! Спроси, чего они хотят?» Следовал краткий ответ: «Вас высылают!» — и люди столбенели от этих слов.

Я обошел много домов. «Кто такой?» — спрашивали меня, и я отвечал по-грузински. Переводчики молчали. Поэтому я беспрепятственно входил и выходил. Успевал успокаивать, советовать. «Ценное по стоимости, легкое по весу», — говорил я всем, кто спрашивал, что брать. «Что делать?» — вцепилась мне в рукав старушка. Я знал, что у нее ничего нет. Посоветовал: «Возьми яблок побольше». Она проковыляла в подвал, зачерпнула корзиной полосатые шафраны, потом разложила платок, сгребла крепкие конусообразные синапы и связала в узел. После этого вышла к солдатам, как на расстрел.

— Куда идти?

— К гумну, — ответили те.

Надо было подумать и о себе. В общей суматохе я дошел до отцовского дома. Там была младшая сестра Нафия.

Отца дома не было — он ушел в соседнее село Платэ. Сестра Фаттима была в селе Самгуре у родственников. Брат Баттал на фронте. Дома был один младший брат — восьмиклассник Фахреддин. Зина уже была там с моим узлом. В него

¹ Лечек — женский головной платок (груз. лечаки).

она сложила нижнее белье, шесть лепешек мчади и сыр. Я зашел в дом, отобрал несколько книг и среди них самые ценные — двухтомник русско-тюркского словаря — первое бакинское издание, несколько работ Ленина, брошюры Сталина и среди них «Марксизм и национальный вопрос», которую я знал почти наизусть и очень любил. Сталин написал эту работу в 1913 году, и Ленин сказал о ней, что это «замечательная книга». Книги я завернул в кусок ткани и сунул в узел.

Собрались коллеги. Зина подала мне мое поношенное пальто и заплакала. Учителя вручили мне собранные наспех 700 рублей. Я обнялся со своими товарищами. Захотелось попрощаться со всеми. Были и такие, кто уклонился от прощания — хотя в 1928 году я работал в кресткоме и много сделал для своих односельчан.

В большом доме Зина оставалась одна — всех нас выслали. Дом, построенный в 1700 году Зурабом Бараташвили и переживший семь поколений, впервые оставался пустым.

Все сельские дома тут же опечатывали, и они переходили в собственность колхоза. Я поручил Зине не выезжать из дома. Прощаясь, я сказал: «Мы вернемся, не сомневайтесь!».

Часам к семи утра народ стали сгонять вниз, к гумну. Утро занималось с трудом. На востоке нехотя, цепляясь за вершины гор, расходились тучи.

Люди долго стояли на гумне с узлами. Гумно оцепили солдаты и никого не выпускали. Были тут старики и старухи, дети и подростки, женщины и больные. Мельком я увидел и полусумасшедшую старуху Аншу. Дочери держали ее под руки. Уже полгода, как пришла похоронка на ее мужа и двух сыновей. Один из них — Мамед Кикнадзе — был моим сверстником. С того дня старуха обезумела. Она целыми днями сидела у верхнего родника и плакала.

К вечеру послышался ровный гул, и мы увидели странное зрелище. Дело в том, что Адыгенский район напоминает ложбину, образованную как бы двумя ладонями. С южной стороны район огражден Арсианским, с северной — Месхетским хребтом. Уровень этих хребтов соответствует 2025 и 2180 метрам. По ложбине течет река Коблиани, впадающая в Поцхови и далее — в Куру. Вдоль этих рек идет основная шоссейная дорога, ее уровень приблизительно равен 1100 метрам. Удэ находится на южной стороне, на уровне 1300 метров. Из Удэ видны и шоссейная дорога внизу, и река Коблиани. Кроме того, просматриваются все села, лежащие на противоположной, северной стороне: Бенара, Вархани, Шулавери, Унца, Сабузара.

Хевашени, Верхний и Нижний Энтэли, Накурдэви, Пхеро... В безветренную погоду, когда бывает особенно хорошая слышимость, до Удэ долетают даже отдельные слова.

По шоссейной дороге, вдоль реки, медленно двигалась колонна из грузовых автомобилей. Длинная цепь причудливо извивалась и конца ее не было видно. Я узнал эти грузовики защитного цвета. Это были «студебеккеры», полученные недавно по ленд-лизу¹ от американцев.

Вскоре ровный гул сбился, цепь стала на глазах рассыпаться на отдельные звенья. Эти звенья поползли по дорогам, ведущим в верхние села. Теперь вместо ровного гула слышалось надсадное урчанье вразнобой. Я стал считать машины, дошел до ста, потом сбился, начал опять, но в глазах зарябило.

Старик рядом тяжело опустился на узел, вытер тыльной стороной ладони слезящиеся глаза и спросил, ни к кому не обращаясь: «Что они хотят от нас?».

Сержант из оцепления ухмыльнулся: «Не бойтесь, вы поедете в цивилизованные места». Потом он добавил охрипшим голосом: «Джамбул будет петь вам песенки, а вы будете кейфовать», — и выжидательно уставился на нас. Внутри у меня все похолодело. Я посмотрел в красные от бессоницы глаза сержанта и как можно спокойнее сказал: «Вы знаете, я педагог и хорошо осведомлен об уровне цивилизации». «Тем лучше для вас», — раздраженно буркнул сержант и отвернулся.

К вечеру стало холодно. Подул ветер. Солдаты в оцеплении сменились уже несколько раз. Наш сержант опять стоял рядом со мной, но в разговор не вступал. Люди стали устраиваться удобнее, разожгли костры, готовились ко сну.

Глубокой ночью все были разбужены какими-то странными звуками. Напротив, в селе Шулавери, горели костры. Страшные крики безысходности и отчаяния доносились оттуда. Взревели моторы «студебеккеров», и этот смешанный вой разом усилился. Яркие пятна костров один за другим исчезали в темноте, как будто их кто-то стирал резинкой.

По гудению «студебеккеров» можно было определить, что колонна спускается к Адыгенской долине. Через час на том месте, где когда-то было село Шулавери, догорали последние головешки.

Душераздирающе выли в темноте собаки.

¹ Ленд-лиз (англ.) — система, по которой США в период второй мировой войны поставляли вооружение, боеприпасы, продовольствие и т. п. союзникам, в частности СССР.

Оцепеневшие, мы молча всматривались, как один за другим догорали костры в селах на противоположной стороне: Бенаара, Хевашени, Сабузара, Бархани, Накурдэв. Той ночью никто уже не спал. Утром в Удэ вползли 15 «студебеккеров» и к обеду в селе стоял такой же ледящий душу вой.

Я пытался увидеть Зину, ободрав ногти о борт машины, что-то кричал, оглушенный происходящим. Через час грузовики, натужно кряхтя, выехали на шоссе. Поддерживая чьи-то узлы, я трясся в такт ухабам и напряженно думал. Куда? Зачем? Может, с Турцией будем воевать и Сталин хочет оградить от войны мирное население. Я вспомнил его многочисленные портреты — они всегда вызывали во мне чувство досады — портреты были слишком парадны, а я любил его простую аскетическую жизнь, во всем стремился подражать ему. Только курить не стал — запах табака вызывал у меня отвращение. Но я помнил свои последние вылазки в Турцию — ничего опасного мои донесения не предвещали. Мысли кружили и возвращались к вопросу: «Куда? Зачем?».

К полудню грузовики достигли районного центра Ахалцихе. Нас высадили на железнодорожной станции. Я наказал нашим держаться вместе и пошел выяснять обстановку.

На станции творилось нечто невообразимое. Товарняков было так много, что я даже не стал их считать. Даже на тбилисском Шайтан-базаре я не видел такой толчеи. Меня били по ногам узлами, я ударялся об углы каких-то ящиков. Несколько раз меня стегнули по лицу брезентом. В этой неразберихе мне все же бросилась в глаза группа людей. Женщины, сидя на лоскутных одеялах, вопили, как над покойником, покачиваясь в такт своим воплям. Я пробрался к ним. Оказалось, что они оплакивали своих родственников, которые ехали на грузовике впереди них. Но, переезжая мост через реку Коблиани, у Адыгени, «студебеккер» накренился и опрокинулся в реку. На глазах у этих людей погибли все их родственники.

На станции были люди из Шулавери, и из Платэ, и из Занави, Зарзмы, Капараули — это только нашего района, Адыгенского. Встретил я знакомых и незнакомых и из соседних районов — Ахалцихского и Аспиндзского.

Я терялся в догадках. И, странное дело! Не встретил ни одного католика из наших районов. Вокруг были только грузины-мусульмане.

Выяснить мне ничего не удалось. Я еще больше был сбит с толку. Крики, детский плач, вопли и толчея — это все вызывало у меня только головную боль.

Кто-то потянул меня за рукав. Я оглянулся — это был мой брат. Его послали за мной — там начиналась посадка и к тому же объявилась Фаттима — каким-то образом сестра пришла нас.

Держа Фахреддина за руку, спотыкаясь о шпалы, я пробирался под вагонами, попадая в путаницу ног, юбок и узлов.

Среди многотысячной беспорядочной толпы вдруг началось какое-то организованное движение. Сначала нас оттеснили вправо. Затем, маневрируя, солдаты оцепили несколько десятков человек. Потом разомкнули цепь и впустили еще несколько десятков уже незнакомых нам людей. Через полчаса мы оказались у двери товарного вагона. К двери подскочили двое солдат. Один сбил засов, другой начал толкать дверь вправо. Дверь под напором с грохотом сдвинулась, и нас, прямо из оцепления, стали загружать в темный вагон. Внутри было холодно. Вагон был двухъярусный. У нас было сравнительно мало вещей — только узлы, поэтому мы всей семьей устроились наверху. Внизу стали размещаться с кадушками и сундуками. Я поймал себя на мысли, что постоянно все считаю — в вагоне нас было тридцать один человек.

Потом появился озабоченный лейтенант. Он заглянул в вагон и громко осведомился, кто тут знает русский язык. Я спросил, что ему надо. Он проверил мои документы и сказал: «Назначаетесь старшим по вагону». Я попытался выяснить у него наш маршрут. Лейтенант, не отвечая, записал мою фамилию и исчез.

Посадка заканчивалась. Между эшелонами стояла длинная цепь солдат. Через несколько минут кто-то стал выкрикивать мою фамилию. Я спрыгнул с верхней полки и высунулся. У вагона стоял пожилой человек в форме рядового.

— Вы учитель? — спросил он. Я кивнул.

— Вот, возьми ее с собой, — и солдат потянул кого-то за руку. Из-за его спины показалась чумазая девочка лет шести, закутанная в рваный платок.

— Она из Хоны, — сказал солдат, — круглая сирота. Отец погиб на фронте, а мать, говорят, с неделю как умерла. Возьмите ее с собой. У нее никого нет, а вы как-никак учитель.

Солдат подхватил ее под мышки и приподнял. Я принял девочку, удивляясь ее невесомости.

— Как тебя зовут? — спросил я, развязывая платок.

— Махбула, — шепотом ответила девочка, не поднимая глаз.

Я отвел ее наверх, порылся в узелках, нашел мчади и головку лука. Девочка молча стала есть. Когда она подняла глаза, я удивился странному взгляду. Потом понял: взгляд был странный оттого, что крупные глаза ее чуть косили. Девочка увидела, что ее разглядывают и перестала есть. Лицо вдруг жалобно сморщилось и по грязным щекам быстро побежали слезы. Нафия погладила девочку по спине, от чего та заплакала еще горше, не выпуская из рук еды. Успокаивать ее не было времени — паровозы вдруг разом тревожно засвистели, и эшелоны дернулись. Из всех вагонов заголосили. И этот крик был так же страшен, как и вчерашний.

Свесив ноги, я чувствовал, как немею от страха, который вместе с криком вползал в мою душу. За что все это? За что мучают людей, которым нечем защититься, кроме как этим первобытным криком отчаяния и беспомощности.

Состав быстро набирал скорость. Железная дорога, построенная с 1940 по 1944-й год выселяемыми ныне людьми, вела нас в Боржоми. Его мы достигли к 7 часам вечера.

В дороге я написал письмо брату Зины. «Беня! — писал я. — Нас высылают. Куда, не знаю. Зина осталась в нашем доме одна. Помогите ей и присмотрите за домом».

Сложил бумагу треугольником, надписал адрес: район Абаша, село Гулухети.

В Боржоми дверь не открыли. Из маленького оконца я увидел, как бежала куда-то стайка школьников. Я окликнул мальчишек, высунул руку и попросил опустить письмо в ящик. Они подхватили бумажный треугольник и закричали: «Опустим, опустим!» и убежали.

Мимо Тбилиси мы промчались ночью.

Днем мы проносились мимо всех станций и полустанков. Составы мчались уже целые сутки, не останавливаясь. Тридцать два обитателя вагона лежали на узлах вповалку и, в основном, молчали. В вагоне кисло пахло человеческим потом и испражнениями. Справлять нужду приходилось прямо в посуду, которую накрывали крышками или тарелками.

Я отворачивался от этого зрелища, и внутри у меня все клокотало. Никто не имеет права ставить человека в такие унижительные условия, в которых он вынужден забывать стыд. «Это все солдаты и машинисты, — задыхаясь от гнева, думал я. — Они не имеют права!».

Тем временем как сумасшедшие проносились будки полустанков и железнодорожники с желтыми флажками. По ланд-

шафту я видел, что это уже Азербайджан. Унылые степи
наверное, Караязская. Дорога, несомненно, вела в Баку.

Глубокой ночью состав остановился. Я прикинул — километров 800 мы ехали без остановок. Двери с грохотом открылись и в нос ударила струя холодного воздуха, смешанного с гарью. Я спрыгнул в темноту и глубоко вздохнул. Под вагонами заметались длинные прутья желтого света от ручных фонарей. Я прошел вдоль состава. «Это Баку?» — спросил я у железнодорожника, вылезавшего из-под вагона.

«Тебе-то какая разница, несчастный? — ответил он. — Все равно погонят дальше».

Чуть поодаль у параллельного состава толпилась милиция. Было темно, но чувствовалось, что там что-то происходит. Я подошел ближе. Из разговоров я понял, что в этом вагоне умер человек. Милиционеры по-русски выговаривали старику, который стоял у вагона, покачиваясь и закрывая руками лицо.

— Что случилось? — спросил я старика.

Он отнял руки от лица.

— У тебя дела нет, что ли? — запальчиво крикнул он, — иди своей дорогой.

Потом, видя, что я не ухожу, старик опять закричал:

— Эти люди и наших мертвых хотят у нас отнять!

Я всмотрелся в него — глаза воспалены, в них какой-то безумный блеск. Старик качнулся и чуть не упал. Потом, закинув лицо к небу, хрипло закричал: «Эй, Аллах! Оставь нас, если не можешь защитить!»

Все как-то сместилось, и происходящее вдруг стало казаться мне сценой из классических трагедий, которых я много пересмотрел на тбилисской сцене. Все во мне сжалось, и я бессознательно ждал развязки.

В это время появился милиционер, старший, судя по погонам.

— Вы из этих? — спросил он меня. — Помогите мне уговорить их. Женщины не отдают тело. В вагоне может вспыхнуть эпидемия.

Мы забрались в вагон. По силуэтам в темноте я догадался, что женщины сидят вокруг покойника. Спины мерно покачивались в разные стороны. Тихие голоса причитали. На нас никто не обратил внимания.

Спотыкаясь о лежащих, я громко спросил, кто родственники умершего. В ответ заголосила одна старуха. Я узнал ее.

Это была жена покойного Мурада из горного села Шопа. С большим трудом мне удалось убедить ее отдать тело.

В это время паровозы засвистели. Я побежал к своему вагону. Состав дернулся и в окошке замелькали фонарные столбы. Но почему-то в обратном направлении. Я ничего не понял. Тогда я еще не знал, что железная дорога, ведущая в Баку, огибает его с запада и идет по кольцу, окаймляющему город.

Как? Обратно? Неужели на юг? Я прикинул: из Тбилиси мы ехали в Баку, на восток. Отсюда отходят две железнодорожные линии — северная и южная. Северная ведет в глубь страны. Южная через Ленкорань — за кордон. Так! Значит, в Иран! Внутри у меня все похолодело. Я знал, какие иранцы фанатики, а ведь я коммунист. Почему-то вспомнилось, как ужасна была гибель Грибоедова — русского посла в Иране. Фанатичная толпа разорвала его в клочья и несколько дней в религиозном экстазе гоняла отрубленную голову по улицам Тегерана.

Я вспомнил его могилу на горе Мтацминда. Когда я учился в партшколе, я часто приходил заниматься туда. Конспекты раскладывал на большом камне напротив склепа, увитого плющом. В склепе было сумрачно и таинственно. Я смотрел сквозь чугунную решетку на холодную плиту и каждый раз как бы заново прочитывал печальную надпись на ней.

Какой нелепый конец блестящей судьбы!..

Иран... Значит, Иран? И почему в Иран?

Окошко в вагоне было на нашей стороне, по левую сторону движения. Изогнувшись, я прильнул к нему и стал всматриваться в небо. Оно было чистым, и звезды блестели. Прямо в окошко глядел вертикально висевший на небосклоне звездный ковш. Хотелось снять его и зачерпнуть воду из муслуха — полутораметрового выдолбленного соснового бревна. В таких бревнах хранится у нас питьевая вода. Потом взять в руки звездный ковш и пить до бесконечности эту воду, пахнущую сосной и горными льдами.

Я проглотил слюну и оглянулся. Наши спали с тревожными лицами, как бы прислушиваясь к чему-то. Девочка вдруг открыла глаза, бессмысленно посмотрела перед собой и тут же опустила веки. Я поправил на ней сползающее пальто и снова повернулся к зарешеченному окну.

От правого края ковша я стал отсчитывать отрезки, равные глубине ковша. Пять отрезков насчитать не удавалось — линия уходила за состав. Когда на стрелке состав шархнулся

вправо, я успел проложить последний отрезок, и прямая линия удерлась в размытую светящуюся точку.

Состав мчался прямо на Полярную звезду. На север!

У меня отлегло от сердца. Значит, Урал или Сибирь. Ну, что ж, по крайней мере, своя страна. Не пропадем. «Не пропадем!» — сказал я вслух, но ответа не последовало. Я скинул с себя пиджак, накрылся им, поудобнее устроился на досках и стал засыпать.

Эту часть воспоминаний я писала со слов папы. Для меня она оказалась самой трудной.

С одной стороны, я боялась, чтобы не было ощущения вторичности — все-таки это пересказ событий, в которых я не принимала личного участия. Именно поэтому мне были интересны все подробности.

Разумеется, рассказ я все время перебивала вопросами. Каждое уточнение выливалось в целое повествование, которое я слушала с огромным интересом. К нему примешивалась досада от невозможности передать все на бумаге так же захватывающе.

— Как? — прервала я рассказ в том месте, где говорилось о национальности «азербайджанец» в паспорте.

Папа, наклонив голову, сосредоточенно сощурился.

— Когда в 30-м году мы приехали учиться в Тбилиси в партшколу, паспортов у нас не было. Были только справки из сельсовета и направление на учебу.

Нас встретили, собрали справки и направления. Потом нам принесли какие-то бумажки и объявили, что в обмен на них выдадут паспорта.

Я прочел в своем документе фамилию, имя, отчество, год рождения. Национальность — азербайджанец.

— Но почему же ты не воспротивился этой записи? — закричала я. — Ты же грузин, только мусульманской веры. Какой Бараташвили азербайджанец?!

— Вера не имела для меня значения, ведь я связал свою жизнь с марксизмом, и о национальности большевики тогда тоже не думали — ведь мы говорили о единении всех народов.

Но почему все же в папиных документах оказалось записано, что он азербайджанец?

Грузинское население северной части отвоеванной Россией в 1828-29 гг. Месхети было записано царскими чиновниками как «грузины-сунниты». Об этом говорится в «Сборнике материалов по описанию населения Тифлисской губернии за 1870 г.». Это подтверждено и в «Своде статистических данных о населении Закавказья».

казского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года» (издано в Тифлисе в 1893 г.) Во всех этих списках Бараташвили указаны как жители села Удэ и их родным языком является грузинский. Мусульманское население Месхети по данным этих списков состояло из грузин-суннитов, терекеминцев и курдов. Турок как таковых в Месхети практически не существовало. Терекеминцы малочисленными группами осели в Месхети в XVIII веке. То же самое можно сказать и о курдах. Терекеминцы принадлежат к тюрским племенам, и мы, месхи, по сегодняшний день четко отличаем их от себя, как и курдов. Согласно вышеупомянутым спискам, в Месхети было около 200 мусульманских сел. Терекеминцы и курды проживали лишь в 20 из них, с наиболее малочисленным населением. В 1944 г. из 125 тысяч выселенных жителей Месхети было всего семь тысяч терекеминцев и три тысячи курдов. Остальные 115 тысяч так называемых турок в действительности являются грузинами-суннитами из племени месхоз.

К вышеупомянутым посемейным спискам, хранящимся в исторических архивах Тбилиси, прилагаются списки фамилий месхов-мусульман, и все они исконно грузинские. Я не имею возможности приводить эти списки в своем повествовании — это заняло бы слишком много места, но любой месх, который знает, из какого села он родом, легко обнаружит в них свою подлинную грузинскую фамилию.

То, что месхи-мусульмане по происхождению грузины, а не турки, отчетливо прослеживается и в том диалекте турецкого языка, на котором они говорят. Это восточно-анатолийский диалект с привнесенными в него месхами фонетическими особенностями, специфическими лишь для грузинского языка. Кроме того, в лексике его наличествуют целые пласты грузинской сельскохозяйственной и бытовой терминологии.

Грузинское самосознание у месхов-мусульман прослеживается и в начале XX века. Примечателен следующий факт: на католической церкви, построенной в Удэ в начале XX века, сохранилась надпись о том, что на строительство ее, наряду с христианами, сделали пожертвования и «мусульмане из грузинского племени».

С начала XX века царское правительство, проводя политику раздробления грузинской нации, открывает в Месхети турецкие школы. Однако, несмотря на это, месхи не причисляли себя к туркам. «Грузин» стал для них синонимом православного грузина, ференг (француз) — синонимом грузина-католика. Себя месхи-мусульмане турками не считали, но и грузинами уже не называли, их самоназвание было «ерлы» — то есть местный, коренной.

Многие в высылке месхов обвиняют Сталина. Это, несомнен-

но, так, однако идея их выселки и заселения Месхети малоземельными крестьянами из Западной Грузии принадлежит еще царским чиновникам, и Сталин лишь осуществил ее.

В 1914 году началась первая мировая война, и русские войска выступили против Турции со стороны Месхети. Командование русской армии предложило грузинскому дворянству создать вооруженные дружины и изгнать месхов — как турок — в Турцию, а опустевшие земли обещало заселить малоземельным крестьянством из Западной Грузии. Грузинская общественность не поддавалась на это и выступила в защиту месхов. И если в 1830-31 гг. под давлением правительства Николая I часть месхов вынуждена была переселиться в Турцию, то на этот раз месхам удалось избежать горькой участи.

Исламизация месхов, разумеется, не проходила бесследно: в 1916 году из шестидесятитысячного населения Месхети треть утратила родной грузинский язык; вторая треть была двуязычной (грузинский и турецкий), а остальные знали только грузинский.

Самый сильный удар по национальному самосознанию месхов нанесен был в 1923 году, когда месхи были записаны азербайджанцами.

Интересы СССР на Ближнем Востоке заставляли идти на уступки Турции в ущерб грузинским национальным интересам. Турки, как известно, покровительствовали азербайджанцам, и в результате этого по решению Кавбюро ВКП(б) от 1923 года месхи, не имевшие ничего общего с азербайджанцами — ни территориально, ни этнически, ни тем более антропологически, были причислены к азербайджанской национальности. С того же времени грузинские фамилии массово начали изменять на азербайджанские. Весь партийно-административный аппарат и педагогические кадры Месхети комплектовались в Азербайджане. Все делопроизводство, преподавание в школах и техникумах велись на азербайджанском языке. В Ахалцихе выходила газета на азербайджанском языке и был организован азербайджанский театр.

Вот откуда у папы в паспорте в графе «национальность» оказалась запись «азербайджанец».

Турецкий язык я знал отменно. Позже на семинарах, докладах я приводил в восхищение преподавателей своими молниеносными переводами с грузинского на турецкий и наоборот. В коридорах меня часто останавливали седовласые профессора-филологи. Они уточняли какие-то синонимы, спрашивали отдельные слова, обороты, были очень вежливы со мной, и я чрезвычайно гордился этим.

Как-то к нам пришел Миха Цхакая. Ему в то пору было

почти 70 лет и ходил он уже, по-стариковски шаркая. Но на трибуне он преображался. И глядя в зал несколько исподлобья сквозь круглые стекляшки очков, он убедительно и четко доходчиво объяснял задачи партии.

«Представьте, что мы стоим перед большой рекой, — говорил он, — которую надо перейти. Так вот, правые говорят — пойдёмте направо, поищем мостик, левые же тянут налево. А партия говорит — нельзя терять время, надо перейти эту реку во что бы то ни стало вброд там, где стоим».

Я стоял сзади и делал пометки для перевода. Волновался очень. Еще бы! Миха Цхакая уже тогда был для нас живой легендой. Профессиональный революционер! — а мы все бредили революцией, — делегат III и IV съездов РСДРП. Был в эмиграции в Женеве, откуда вернулся вместе с Лениным. Член ЦК КП(б) Грузии.

Конечно, я волновался. Когда Цхакая закончил, я выступил вперед. Заглядывая в свои записи, я стал быстро переводить и в конце от себя добавил: «Долой троцкизм! Да здравствует коллективизация!». Все захлопали.

— А кто еще приходил к вам? — прерываю я опять.

— Многие, — отвечает папа. — Филипе Махарадзе, например. А знаешь, как его звали в народе? — оживляется он. «Филмах» — по тогдашней привычке все сокращать. Даже анекдот ходил. Время нэпа. А Махарадзе — предревкома Грузии. Приходит к нему один мелкий торговец и жалуется: «Товарищ Филмах, твой начмил, то есть начальник милиции, мой виртач отобрал. Скажи, пусть обратно отдаст».

— А виртач что такое?

— «Вири» — осел, «тач» — тачка.

Мы оба смеемся.

Я слушаю папу и держу в руках выцветшую книжку, обтянутую красной тканью. Ткань порыжелела в некоторых местах, и само удостоверение выглядит музейным экспонатом. Оно на самом деле музейное. Наивным каким-то шрифтом выписано (может, он не столько наивный, сколько милый своей стариной), что удостоверение выдано папе по окончании двухгодичного курса Центральной партийной школы при Коммунистическом университете имени Сталина по тюркскому сектору. Я обратила внимание, что удостоверение помечено первым номером.

— Да, — говорит папа, — так решили при выдаче мне документов. Учился я с удовольствием, даже с жадностью, предвкушая ту работу, которую себе наметил.

— Что за работа?

— Я очень был дружен с Гаджи и Хусейном — прекрасные были ребята. Так вот, мы решили после окончания учебы проситься в Турцию — делать революцию, потому что мы дали друг другу клятву все силы отдать делу мировой революции. У нас было такое чувство, что силы наши безграничны. Убеждали декана, просто требовали, чтобы нас послали за границу. Но после партшколы дел и так хватало. В Турции же я бывал с заданиями неоднократно, даже во время войны, вплоть до 44-го года.

Возвращаясь к ноябрьским событиям 1944 года, хочу еще поразмышлять. Да, я боялась ощущения вторичности. Хотелось описать события так, будто все это происходило со мной.

Но я долго не могла уяснить для себя папин взгляд на происходившее. Сегодняшняя его позиция мне хорошо известна — почти вся борьба за возвращение на родину протекала на моих глазах, мы выросли в атмосфере этой борьбы. Всевозможные собрания, долгие разговоры, папины отъезды, обращения, письма, воззвания — их бесконечные варианты писались и нашими неустоявшимися почерками — все это я знала с детства и знала, что это важное и справедливое дело.

Знала я и то, что операция по выселению месхов была осуществлена одновременно в 200 селах районов Ахалцихе, Адыгени, Аспиндзы, Ахалкалаки и Богдановки, и операцию эту осуществляли войска госбезопасности, подчинявшиеся непосредственно Берия.

Но важнее всего для меня было то, какое чувство все происходившее вызывало в папе тогда, в 44-ом. Какими глазами он смотрел на опрокинутые сундуки и девочку-сироту, как отзывался в его душе жалобный вой привязанных собак и что творилось с ним, когда он видел потонувшие во мраке села..

Поэтому я долго думала о тех днях, восстанавливая их во всех мелочах. Что делал папа в те дни, я знала почти наизусть, но в голове все-таки не складывалась ясная картина.

Я думала — папа, свидетель, непосредственный участник этих событий, не был романтично настроенным юнцом. Этот человек вырос в многодетной семье, знал все тяготы крестьянской жизни, сознательно отрекся от религии, вступил в комсомол. За его плечами была борьба с кулаками, активная комсомольская работа, учеба в Центральной партийной школе, в университете, разведывательная деятельность, педагогическая работа.

И вот, этот человек, видя явное насилие и несправедливость, ходит, подбадривает людей, невольно помогая организаторам насилия. Почему? Почему он сдержался в разговоре с сержантом,

который издевался над ними? Ведь я знаю, как папа был вспыльчив, но справедлив. Разве он плохо разбирался в обстановке — он, чьей работой гордились на погранзаставе?..

Пришлось все-таки задать этот вопрос. Папа удивился:

— Почему я должен был сомневаться в правоте действий властей? Да, я многого не понимал в те дни, но приписывал это своему неумению мыслить по-государственному. Верил, что так надо.

— Но это же похоже на религиозный фанатизм! — сказала я. — От чего ты ушел, к тому и вернулся.

— Какой, к черту, религиозный фанатизм! — вспылил папа. — Я ненавижу ислам, он делает человека слепым. Да и какая вера могла сравниться с моей верой? С верой в революцию и коммунизм! Непокколебимая уверенность была, понимаешь, непоколебимая!

Я ничего не понимала. Тебя выгоняют из дома, отнимают навсегда самое дорогое — землю, на которой родился ты, твои предки, где растут твои сады и сияют вечными льдами твои горы, где ручей напевает незатейливую песенку и с грохотом срываются с круч водопады, где гулко крутится мельничный жернов и далеко разносится нежный запах свежесмолотой кукурузной муки...

Для меня все эти понятия носят абстрактный характер. Я никогда не была там, ничего этого не видела. А для папы все это было реальностью. Тебя лишают этой реальности, а ты веришь, что это справедливо. Поразительна эта непоколебимая вера!

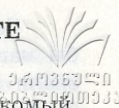
Но вопрос в том — хорошо ли это? Странно, думала я, что человек в общем-то уже сложившийся был абсолютно лишен критического взгляда на вещи. Думаю, что, не выяснив природу этой непоколебимой веры папы, я бы не сумела описать трагедию тех ноябрьских дней 1944 года.

Суровая и трагическая судьба выпала на долю месхов.

Грузия всегда была лакомым кусочком для окружающих ее могущественных и агрессивных держав. Благодаря своему географическому положению Месхети служила своеобразным щитом, прикрывавшим всю остальную Грузию от иноземных захватчиков.

С 1578 по 1829 год, два с половиной века, месхи находились под турецким игом. Все это время среди месхов насильственно насаждался мусульманский образ жизни.

ЧТО ПРОИЗОШЛО С МЕСХАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТИЯ МУСУЛЬМАНСТВА



Прежде всего насильственно был введен незнакомый, чуждый месхам турецкий язык. Если изучить этот язык было сравнительно легко, то изучить арабские иероглифы, на которых основывалась турецкая письменность, представлялось почти невозможным. Поэтому часть месхов, принявших мусульманство, изучили разговорный турецкий язык, но оставались безграмотными. И еще долгие годы турецкие тексты писались месхами грузинским алфавитом.

Ислам учит, что мусульманство это есть единство истинной веры и национальности. Поэтому в документах, удостоверяющих личность, в графе «национальность» месхи часто писали «мусульманин».

Турки, позаимствовав в древние времена у арабов их культуру и веру и сделав ее своей, насадили ее и среди наших предков. Элементы христианской культуры, которые еще сохранялись у населения, считались богохульством. Например, нельзя было играть на музыкальных инструментах, танцевать, рисовать, носить христианскую (грузинскую национальную) одежду, женщине нельзя было открывать лицо перед посторонним мужчиной и т. п.

До завоевания турками Месхети жители занимались, кроме всего прочего, виноградарством, которое было солидным источником дохода крестьян. Месхам было запрещено выращивать виноград, так как из него делалось вино, запрещаемое исламом. По той же причине такая же участь постигла и другую отрасль сельского хозяйства — свиноводство.

Из-за религиозного фанатизма турок месхи терпели экономические бедствия и впали таким образом в нужду.

Все эти тяготы и лишения люди переносили. Переносили лишь благодаря тому, что у них оставалось самое главное — земля предков, на которой они жили.

Но никто не знал, что страшная трагедия еще впереди: месхов лишат родной земли. И тоже насильственно.

ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА БАРАТАШВИЛИ

Работа над генеалогией шла многие годы и окончательно оформилась в 1942 году. Кроме своей генеалогии я изучал происхождение фамилий моих односельчан и составил наряду с этой несколько десятков генеалогических таблиц. Они и сейчас хранятся у меня в архиве.

Генеалогические таблицы составлены мною для того, чтобы наши потомки знали о своем подлинном происхождении, знали бы свои корни, свой род, где бы они ни жили и какие бы фамилии ни носили сейчас.

Сохранение фамилий из поколения в поколение — древнейшая традиция. Благодаря фамилии историки могут восстановить всю родословную человека.

Фамилия Бараташвили существует давно и, принятая однажды, не изменялась на протяжении веков.

В 1578 году Мустафа-Лала паша захватил Месхети. Чтобы утвердиться на захваченной территории, паша завел книгу переписи населения. Книга эта называлась «Пространный реестр Гюрджистанского вилайета». На 51-й странице «реестра» главой одной из семей села Удэ назван «Барата Мурад».

Таким образом, началом нашей фамилии Бараташвили («швили» по-грузински означает «сын») условно считается 1578 год, когда население Месхети еще было христианским.

Позже, спустя примерно 147 лет, христианин Бежана Бараташвили принял мусульманство. В новой вере он получил новое имя — Магомед. Мы — потомки Бежана-Магомеда.

В Кутаисском историческом музее хранятся документы Имеретинского царства, а также Гурийского и Одишского княжеств (так называлась Мегрелия). В разделе, охватывающем 1466—1770 годы, на 142-й странице я вычитал следующее: «Затем этот Магомед (звавшийся раньше Бежана), сын Зураба Бараташвили, по случаю мусульманства имеет право на обладание всем имуществом и поместьями, ранее принадлежавшими его отцу, деду и прадеду». Наша генеалогия начинается с этих лиц¹.

Выяснилось также, что Бежана был богатым человеком и оставил своему наследнику обширные владения: село Цисе, поля Арала, сады Кепри-баши, Чокавурские мельницы и др.

В Удэ мусульмане носили грузинские фамилии, но в некоторых селах почти никто уже не сохранил свои исконные грузинские фамилии, создавались новые фамилии по именам отцов.

Наша фамилия встречается и в других районах Грузии — Маяковском, Душетском, Тержольском...

В книге Х. А. Ахвледиани «Краткая история Аджарии» можно найти следующую цитату:

¹ Папе удалось восстановить наш род только до Зураба. А кто были его предки — теряется в тумане истории.

«...Шейхов из грузинских мусульман было очень мало. Только в 1780 году им стал Херхеулидзе из Ардагана, в 1830 году — Хаджи Ломан-эфенди из Зендара, в 1805 году — Гейдар-ходжа Бараташвили» (т. I, с. II, Батуми, 1944 г.).

Наличие в селе Удэ Ахалцихского уезда грузин-мусульман Бараташвили подтверждается и одной статьей из книги «Письма из Кваблиани». Там говорится: «В Удэ есть просветительская школа, в которой учатся 80 школьников. Среди них единственный мусульманский мальчик по фамилии Бараташвили». Речь здесь идет о моем дяде Малик-шахе.

У Бежана-Магомеда было два сына — Дурах и Салах. У Дураха тоже было два сына — Дэдэ и Гоч-Али. Дэдэ имел пять сыновей и средним сыном был Искандер — мой дед.

Дед Искандер был человеком вспыльчивым, крутым, но это не мешало ему любить садоводство, с нежностью относиться к деревьям, любить их, как живые существа. Он обладал такой интуицией в садоводческом деле, что ему достаточно было одного взгляда на дерево, чтобы определить — выживет оно или погибнет, будет плодоносить или нет. А вот еще удивительный факт. Ранней весной к моему деду приезжали закупщики фруктов со всей Грузии. Деревья только начинали зацветать, а оптовые скупщики торопились в Удэ. И начиналось знаменитое шествие по ахалцихским садам. Искандер-ага, заломив папаху, шел впереди, а за ним, на почтительном расстоянии, шли богатейшие люди и торопливо записывали отрывистые реплики деда. По цветам на деревьях дед определял, каков будет урожай, «Пишите, — приказывал дед, — этот сад даст 200 пудов яблок и 60 пудов груш...». «А слив?» — спрашивали скупщики. Дед отмахивался: «Не стоит закупать. Слива почти вся погибнет». И интуиция не подводила его. Скупщики тут же договаривались с хозяином садов о цене. Дед тоже получал солидное вознаграждение и, не считая, запихивал ассигнации в карманы брюк.

У Искандера было три сына — Маликшах, Амирхан — мой дяди и мой отец Максуд.

Отец мой Максуд был уже средним крестьянином, трудился всю свою жизнь. В 1905 году, когда из России пришли вести о революции и когда по призыву социал-демократической партии грузинский народ поддержал ее, отец тайно перевозил оружие в Ахалцихе. Оружие это собирали по всему селу, а старые еще османские ружья ремонтировали местные кузнецы.

У моего отца было три сына --- я и мои братья Батаал и Фахреддин¹. У нас тоже появились дети.

Таким образом, род Бараташвили из села Удэ, начиная от Зураба, родившегося в XVIII веке, до Марата, родившегося в 1954 году, пережил девять поколений, то есть каждые двадцать восемь лет в нашем роду меняется одно поколение. Древнегреческий историк Геродот считал, что в человеческом роду примерно каждые тридцать лет меняется одно поколение.

Потомков нашего прямого предка Дэдэ называли «дэдэйцами», а потомков Гоч-Али — «гочалийцами». Потомки Салаха проживали в разных селах и потеряли свою фамилию. Впоследствии они записывались как «джурийцы».

Генеалогия и собранные документы наглядно подтверждают коренное происхождение нашего рода.

Мы — не пришельцы и, тем более, никакие не турки.

Мы — грузины-месхи, принявшие мусульманство на определенном историческом этапе.

В период мусульманизации представители Ватикана (контактирующего в тот период с Турцией) выпросили себе право обратить часть населения в католичество.

Напрашивается вопрос — почему в ноябре 1944 года из Месхети были высланы только грузины-мусульмане? Ведь если следовать пресловутому ярлыку, который был навешен нам давно («Вы продали веру!»), то и католики изменили вере — были православными, а стали католиками!

Тем не менее, в ноябре 1944 года, по не известным нам причинам, люди были разделены по религиозному признаку.

Кто знал, что вопрос религии окажется роковым при Советской власти!

Кто знал, кто знал...

Таким образом, род Бараташвили разбросан по свету. Потомки Узеира и Ибрагима — в Турции. Потомки Салаха потерялись из виду из-за измененной фамилии. Остальные Бараташвили, волею культа личности, рассеяны по республикам Средней Азии и Азербайджану.

Перед смертью мой отец Максуд обратился к правительству Грузии с просьбой похоронить его на родной земле, однако ему было отказано.

¹ Читая эту запись, может создаться впечатление, что в роду Бараташвили не было женщин. Дело в том, что папа прослеживает только мужскую линию рода, поскольку она продолжает фамилию.

Таким образом, до сегодняшнего дня не все Бараташвили имеют возможность жить и умереть на своей родине.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МАТЕРИ

Маму звали Гюлендэм. Ее девичья фамилия — Атадзе. Фамилия эта знатного происхождения и корнями уходит во времена царствования Тамар.

В то время у царицы служил один военачальник — выходец из села Джакисмани. Этот джакисманец был преданным и храбрым воином. Под его руководством была одержана не одна победа. Царица щедро наградила его — пожаловала ему два крупных поселения — Поцхови и Коблиани. Кроме этого, джакисманец был одарен высшей милостью — был назначен воспитателем царского сына Лаши. Воспитателям царских детей в то время присваивался титул «атабек», который давал большую власть и богатство. Вся семья и род военачальника получили в XIII веке фамилию Атабеков (впоследствии — Атадзе) и высокое положение при дворе.

После завоевания Месхети Турцией Атабеки приняли мусульманство, выстроили в своих селах мечети, и вокруг них было выделено место под кладбище.

До XIX века они безраздельно владели Поцхови и Коблиани, этими щедрыми подарками царицы. Последней резиденцией Атабеков было село Харджами, где последний отпрыск Атабеков, Сарвар-бек, сосредоточил все богатство в своих руках, безжалостно разорив родственников.

В предварительном свадебном договоре за мамой давали несколько мельниц и одну гору с полезными ископаемыми. Но к моменту свадьбы семья была разорена, и мама выходила замуж практически нищей. Мой дед Искандер уже в доме невесты почуял неладное и стал требовать векселя. Невеста сидела на лошади ни жива ни мертва. Дед хватал поводья, не давая ей трогаться. Только благодаря бабушкиному красноречию удалось передать невесту в руки жениха.

— Единственным богатством из приданого мамы, — рассказывает мне тетка, папина сестра, — были длинные, в четыре нити махмудии. Махмудия — это золотая монета с изображением султана Махмуда.

Когда мама надевала их, мы не отрывали глаз от украшения и восхищенно слушали нежное позвякивание золотых монет. Часть этого золота пошла на обучение дяди Маликшаха в гимназии. А часть бесследно пропала. Правда, несколько монет я случайно уви-

дела у соседей — ведь мы знали наизусть каждую монетку. Тогда я, помню, закричала: «Это махмудии нашей мамы!..» Но я была девчонкой, мне никто не поверил.

Когда мама умирала — в три дня она угасла! — я сидела рядом, держалась за ее руку.

Красавица была мама. А трудолюбивая.. В руках у нее все так и горело. Представь, за одну ночь мама могла расчесать шерсть, спрясть нитки и связать из них пару носков.

Тетя умолкает, думает о чем-то. Потом продолжает:

— Святая женщина была наша мама. Когда ее оплакивали, у изголовья вдруг появилась птичка, и хвостик у нее такой — веером. Она неподвижно постояла, потом спрыгнула на пол и, не торопясь, направилась к выходу. Прошла все раскрытые двери, спрыгнула со ступенек. Вспорхнула на корову, перепрыгнула на лошадь и исчезла на глазах у всех.

— А что это могло означать? — спрашиваю я.

— То, что я и говорю — святая была женщина. Это душа ее была. Благословила дом и вознеслась к богу.

— А как папа перенес ее смерть? — спрашиваю я.

— О-о-о.., сколько я живу на свете — не видела, чтобы мужчина так убивался. Твой отец тогда в Поти жил с Зиной. Телеграмма его не застала — он ездил по районам с проверкой. Когда поздно ночью вернулся, включил настольную лампу, а под ней — три телеграммы. Одна — «Приезжай, мама заболела», вторая — «Срочно приезжай» и третья — «Мама умерла».

В ту ночь отец вышел в дорогу и только к вечеру был дома. Когда я увидела его лицо, я испугалась — так оно было перекошено. Маму уже похоронили. Отец твой как закричит: «Мама-джан, вай, мама-джан!» и как бросится с размаху на камень, прямо грудью... Ревел — как раненый бык: «Нет, пойду, разрою могилу — почему без меня похоронили...» Народ окружил его, стали уговаривать — нельзя, мол, так мужчине убиваться... а он: «Мама-джан, почему я не умер вместо тебя! Пустите меня к ней...»

Тетя опять умолкает.

— И правда, как мама любила твоего отца, так ни одна мать свое дитя не любила. Она и нас всех любила. Но не так. Когда отец твой был ребенком, дед Искандер высек его розгами. Длинная это история...

Началось с того, что отец твой мальчишкой удрал в Поцхови. А удрал он потому, что до нас дошли слухи, что нашего отца засадили там в тюрьму. Ну, и на правах старшего сына мой брат удрал спасать нашего отца. Никому слова не сказал. Его хватились к вечеру. Нет нигде. Дядья наши снарядились и отправились

искать его. Дед Исскандер — крутой был мужчина! — сказал: «Если этот паршивец найдется, высеку его розгами!»

А отец твой разыскал в Поцхови тюрьму, вынул из-за пазухи мчади и стал звать отца. Кричал-кричал, слышит — в ответ ему кричат: нет такого, похоже, его выпустили. Короче, оба они встретились у нашей бабки, в Поцхови. Ну, дядья-то знали, что отца твоего ждет порка. Отец твой сказал: «Сбегу». Дядья стали уговаривать племянника — уважь деда, если он тебя не высечет, его клятва повиснет в воздухе. Пришлось покориться.

Но что было с мамой... Она бросилась в ноги деду — своему свекру, когда же дверь заперли, стала биться в нее, рвала волосы на себе, чтобы только не трогали ее первенца. Но дед был неумолим. И что же ты думаешь? Мама до самой смерти не разговаривала с дедом — не могла простить той порки.

А когда твой отец в Турции учился, мама вынимала из сундука его вещи, нюхала их: «Латифшахом пахнет...»

— А где ее похоронили? — спрашиваю я.

— Мама всегда говорила — хоть бы меня похоронили так, чтобы в изголовье протекал ручей, или просто рядом с водой. Так ее и похоронили. На нашем кладбище, у ручья.

Я слушаю тетю, поглядывая, как крутится кассета магнитофона, записывающего весь этот рассказ.

Потом я прослушиваю запись, вслушиваюсь в тетин голос, который в конце рассказа от усталости отдает хрипотцой.

Много говорит тетя и о красоте бабушки. Да этого она могла бы и не говорить, ее собственная красота — тому подтверждение.

Папа похож на дедушку. Только, сравнивая фотографии, видишь, что жесткие черты лица смягчены, а вместо твердого, как у дедушки, взгляда большие глубокие глаза папы светятся задумчивостью и благородством, унаследованными от матери.

— А с каким достоинством мама всегда держалась! — продолжает тетя. — Фамилия Атадзе обязывала ее гордиться своим происхождением. Это происхождение было завоевано ее предками. И не подобострастием, а с оружием в руках на поле битвы за родную Грузию. И мы всегда помним, что, кроме того, что мы — Бараташвили, в нас течет и кровь славных Атабеков.

Я слушаю и думаю. Думаю о том, что и мне всегда надо помнить об этом.



Теперь маршрут был относительно известен. Сначала Дербент, затем Махачкала, далее будут Грозный, Астрахань, а там... там будет видно.

Дербент запомнился тем, что на станции стояли изуродованные эшелоны. У нас как раз кончились дрова, и мы, соскочив на платформу, начали выламывать двери одного из вагонов. Не успели мы втащить дверной щит, как состав двинулся. Мы, возбужденные удачей, разожгли нашу ветхую железную печь и долго радовались теплу.

В Махачкале я вышел, огляделся и стал пробираться по путям, не выпуская из виду свой состав. Скоро я вышел к обшарпанному зданию с надписью «Рыбзавод». Я вошел в темный двор, походил. Никого не было, я повернул назад, и тут меня окликнули. Подошло несколько человек. Я вежливо поздоровался, чутко прислушиваясь к паровозным гудкам. Меня стали расспрашивать, кто я, откуда и сколько нас едет. «Э-эх... — сказал один из них, — не вы первые. Крымских татар прогнали еще в июле. Там так убивалась одна девушка, — продолжал старик. — До сих пор перед глазами стоит — косы до пят, а глаза — как звездочки. Она набирала воду из водокачки и вдруг как закричит в голос: «Вай, мама, вай, мама!» и как начнет биться головой об железку».

Все вокруг сочувственно зацокали. У меня сжалось сердце — не мы первые... А последние ли?..

Я стал прощаться. Мне пожали руку и стали совать что-то в карманы. Придя в вагон, я, к большой радости всех наших, вытащил несколько банок с рыбными консервами.

Теперь мы ехали по новой железной дороге по направлению к Астрахани.

В Астрахани нам выдали еду — кашу со свиным салом и хлеб. Я получил продукты на весь вагон. Махбула помогала мне перетаскивать цинковые ведра с кашей, резала хлеб. Она оживилась, путешествие казалось ей веселой прогулкой, где все было интересно и никто ее не обижал.

Вдруг Махбула исчезла с пустым ведром. Я пошел искать ее. Девочка стояла у локомотива и набирала в ведро отработанную паровозом воду. Возле струи с паром столпились женщины и торопливо брали перемешанную с маслом горячую воду. Машинист с перекошенным лицом орал сверху: «Нельзя, нельзя, уйдите!». Женщины виновато улыбались, но не уходили.

Кстати, печь наша расплзлась на глазах, и мы со стра-

ХОМ думали, что же с нами будет без тепла. Как-то на очередной стоянке я увидел товарняк — платформы, груженные жемчужной пылью. Я стоял, смотрел и вдруг услышал рядом: «Дали бы мне хоть один лист, такую я бы печь соорудил...». Я оглянулся — это был Бинали из последнего вагона. «А если два листа?» — спросил я. «Тогда две печки», — последовал ответ. Не стовариваясь, мы перебрались через пути. Я влез на платформу, стащил один лист, и тот с грохотом упал на рельсы. Где-то пронзительно засвистели. Обламывая ногти, я потащил второй лист. Он накрыл меня с головой и, не удержавшись, я упал вместе с ним. Свистели уже совсем близко. Мы бежали, волоча грохочущие листы. На счастье, наш состав дернулся, и мы на ходу, впахивая листы, прыгнули в вагон.

Ноги противно дрожали, пальцы с обломанными ногтями кровоточили. Я бросился с досады на топчан и ударил по стенке кулаком. Неужели я скатился до воровства?

На другой день огонь весело гудел в новой печи.

А жизнь шла своим чередом. Мы жили в своем вагончике, готовили еду, рассказывали разные истории. Я начертил карту и отмечал на ней передвижение нашего состава. О каждом городе, который мы проезжали, я подробно рассказывал, показывая его на самодельной карте. Старушки внимательно слушали меня. Одна из них спросила: «Ты случайно не пророк? Тебя что ни спроси — все знаешь».

У молодой женщины внизу родилась девочка. Ее единодушно назвали Фиргат¹.

Почти на каждой стоянке выносили умерших, завернутых в саваны. Завывал ветер. Люди торопливо закапывали трупы в снег и догоняли убегающий состав.

Еще одно несчастье постигло нас — мы все разом завшивели. Как-то утром я посмотрел вниз и содрогнулся. Черная шаль, покрывавшая старуху, вдруг стала серой и странно колыхалась. Я пригляделся — по платку серой массой ползали вши.

Я сел и стал соображать. Это уже надолго. Но уменьшить эту опасность все же надо было.

Я велел всем раздеться и не вылезать из постелей. Потом собрал всю одежду и, связав в узел, выбросил на веревке в окошко. Огромный узел висел на 25-градусном морозе за окном целый день. Вечером мы дружно вытряхивали из задревневшей связки замороженных вшей.

Так же поступили и с постелью.

¹ Фиргат — горемычная (арабск.).

Ташкента мы достигли на 22-й день, то есть 9 декабря. Все это время я был оторван от мира. Как шли дела на фронте — вот основное, что меня беспокоило. И хотя на остановках я напряженно вслушивался в хриплый голос, идущий из репродукторов, ясности для меня не было.

В Ташкенте поезд должен был стоять полчаса. Я выскочил — может, найду газеты. За мной увязалась Нафия — она была беременна, а за ней Шуша, дочка Абуладзе.

Газет не было, зато рядом со станцией оказался громадный восточный базар. У нас еще было время и, перепрыгивая через пути, мы устремились туда. Базар ошеломил нас. Гроздьями висел осенний виноград, черными горками рассыпался на прилавках кишмиш¹, лакированно блестели столбики свежеспеченных лепешек, и в горле запершило от запаха запаренного на углях мяса...

Над одним прилавком висел кусок чего-то янтарного, сплетенного жгутами. Я неуверенно тронул один из них. Хозяин с готовностью оторвал липкий кусочек, дал попробовать. Приторная сладость обожгла язык. «Что это?» — удивился я, прожеывая душистую мякоть. «Сушеная дыня, — отозвался узбек, — купи, не пожалеешь!» «Народ не умрет с голоду при таком изобилии», — подумал я.

А вокруг все носилось, гремело, кричало. Верблюды лежали рядами вдоль прилавков и равнодушно жевали, поводя глазами. Было холодно и хотелось зарыться в верблюжьи горбы.

Под ногами, в отрепьях, сидела нищенка с протянутой рукой и, раскачиваясь из стороны в сторону, что-то говорила. Я прислушался и неожиданно уловил рифму в ее напевах. «Поистине это чудесная страна, если и нищие здесь — поэты», — подумал я.

В кармане у меня была мелочь и, купив два кулечка черного кишмиша, я поторопил женщин. Мы вышли на перрон. Наш поезд вдруг тронулся. Его еще можно было догнать, но для беременной Нафии это было бы опасно. Поезд на глазах медленно удалялся. Мы оставались в чужом городе без верхней одежды, без денег, без документов. Только во внутреннем кармане у меня лежал партбилет. Женщины заголосили.

По перрону прохаживался милиционер. Я подошел к нему, объяснил ситуацию и попросил совета. Он молча указал мне на дверь с надписью «Политотдел». Я вошел. За массив-

¹ Кишмиш — изюм (груз.).

ным столом сидел человек в военном френче, склонив голову так, что мне был виден только его бритый затылок. Справа на столе стояла причудливо расписанная пиала с жидкостью на доньшке. Над столом висел парадный портрет Сталина.

Я вежливо поздоровался. Затылок не шевельнулся. Я начал говорить — по заданию партии нас высылают из Грузии. Я и двое женщин отстали от поезда, одна из них беременная, хорошо, если вы поможете...

Затылок стал медленно подниматься и на меня уставились две узенькие щелочки глаз — все остальное лицо выражало лишь откровенную брезгливость. Я замолчал. Молчал и сидевший за столом.

«Что? — спросил он с сильным акцентом неожиданно тонким голосом. — Партия вас высылает, а вы чем занимаетесь?» «Чем?» — спросил я, с трудом понимая его русскую речь. «Провокация! — закричал «френч». — Вы специально отстали, чтобы сорвать планы партии! Вы...» Он грузно поднялся. Я слушал все менее понятную речь, переводя взгляд с френча на нарядную пиалу, которая стала вдруг совсем крошечной, и было непонятно, как она попала на этот стол.

Мне надоело слушать. Я остановил его рукой, неожиданно для себя грубо выматерился и, не ожидая реакции, быстро вышел. Меня могли схватить каждую минуту, поэтому я решительно направился к милиционеру. Задыхаясь от волнения, я сказал, что начальник политотдела велел передать, чтобы вы посадили нас на поезд, стоящий на (я оглянулся) первой платформе. Если вы мне не верите, — добавил я, — можете сами спросить, но поезд в это время может уйти.

Милиционер устало кивнул и повел нас к поезду. Обменявшись с проводником в тубетейке несколькими словами (я силился разобрать узбекскую речь, но, кроме слов «поезд», «станция», ничего не понял), он провел нас в вагон. К счастью, поезд тут же тронулся. Милиционер помахал нам, а я неотрывно смотрел на него и лишь благодарно улыбался.

Поезд шел на Красноводск. Люди в вагоне сидели, стояли, висели и, показывая на нас пальцами, оживленно галдели: серая масса вшей ползала по нашей одежде. Женщины жались ко мне, со страхом разглядывая незнакомых людей: стариков в тюрбанах и ватных халатах с задубевшими коричневыми лицами; женщин, у которых на лице была черная непроницаемая сетка из конского волоса. Но и сквозь нее угадывались любопытные глаза. Пестрые шаровары оканчивались бахромой, а из-под расшитых тубетеек черными змейками маслянисто из-

вивались полсотни косичек, издавая металлический звон. В косички были вплетены серебряные монеты.

Вдруг я заметил, что в нашу сторону пробирается высокий и плечистый капитан. Я весь напрягся. Галдеж вокруг нас усилился. Похоже, что жаловались на нас.

«Кто такие?» — несколько свысока спросил он по-русски. По акценту я понял, что он армянин. Я наскоро все объяснил. Он скептически выслушал меня, потом перебил: «Да не врете вы! Я только что отвез эшелон таких же и знаю ваши настроения. Скажите, что намеренно отстали от поезда». Я вспылал: «Молодой человек! — взяв себя в руки, медленно сказал я. — Я член партии и педагог. Таких, как вы, через мои руки прошли сотни, и прежде всего я старался прививать им уважение к старшим». С этими словами я вынул партбилет и протянул молодому капитану. Рука у меня дрожала.

Капитан как будто был сконфужен. Он изучил мой партбилет, стяхивая с него вшей, затем извинился и, оттеснив сидящих, посадил моих женщин. Нафия меланхолично грызла кишмиш. Шуша держала меня за рукав и шепотом спрашивала: «Что он сказал? Он нас не высадит?».

Мы разговорились с капитаном. «И все-таки я не понимаю, — сказал он, — почему вас высылают?».

«Политика партии, — односложно отвечал я, — значит, так надо».

Через некоторое время в вагоне появились контролеры. Перешагивая через мешки и людей, они смешно задивали ноги в глянцевах галошах с загнутыми носками. На вопрос о билетах мы молчали. Контролеры закричали разом, размахивая руками, но вмешался капитан и они утихли.

На станции Красногвардейская мы сошли, поскольку еще в Казахстане я узнал, что это конечный пункт, где нас должны были высадить.

Туда мы приехали раньше нашего состава — днем. Я знал, что, наверняка, придется заночевать здесь, поэтому обошел все вокруг. Рядом стоял опустевший клуб. Я подумал — кому он нужен на станции — и влез в окно. Двери были крепкие, двустворчатые. Мы забрались туда, дрожа от холода. Было 13 декабря 1944 года. Снег лежал по колено, дул холодный, пронизывающий все нутро ветер.

К вечеру мы встречали свой состав. Нас считали уже пропавшими, как многих, оставших по дороге.

Запылали костры, туда полетели ветки сухих акаций, обрубки бревна, даже двери с петель. Я ходил между костра-

ми, вглядывался в лица, освещенные огнем, под ногами хлюпал растаявший снег. У меня на глазах стали взламывать какой-то подвал и торопливо выносить оттуда свеклу. Дети жадно хватали грязные клубни, вгрызались в гнилую мякоть. Через минуту лица детей были изукрашены грязно-малиновыми полосами. Я нерешительно сказал: «Женщины! Это же грабеж народного добра! Ведь Советская власть...» и осекся под ненавидящими взглядами женщин. Потом подумал — действительно, при чем здесь Советская власть, и начал помогать вытаскивать корзины со свеклой.

Утром приехали представители колхозов и совхозов, начался оживленный торг — кого куда. Дошла очередь и до меня. Списки составлял хилый еврей в очках. Я сказал, что я учитель. Еврей устало посмотрел на меня: «Нам нужны не учителя, а рабочая сила». Тогда я торопливо сказал, что я мастер на все руки. Меня с семейством записали в совхоз Енгиярык. Только к вечеру мы погрузились на скрипучие арбы и вскоре были в совхозе. Он оказался наполовину опустевшим. Нам выделили разрушенный дом, куда мы втащили свои узлы и двери, снятые с петель в станционном клубе. Года три потом они служили нам кроватью.

Первым делом мы разожгли нашу вагонную печь и уселись кругом. Вода в чайнике закипела. Горела коптилка, язычок ее трепетал от сквозняка то вправо, то влево. Снег за окном шел, не переставая. Все ели молча. Грея руки о кружку, я подумал о том, что ждет нас впереди. Где отец? Жив ли Баттал? Что будет с Зиной? Что будет с людьми, рассеянными по чужой земле? И вообще — как жить дальше?

* * *

Наутро по снегу, доходящему мне до пояса, я направился к акациям и решительно стал рубить их. Я понимал, что это варварство: «Но если я не сделаю это, мы замерзнем,» — возразил я себе, с силой всаживая наджах¹ в черный ствол.

Надо было как-то устраиваться. Мы собрали камни, кирпичи из разрушенных домов, и я начал выкладывать печь. Никогда в жизни ничего подобного я не делал — работал я вслепую. Приходили узбеки, цокали, простодушно спрашивали: «Кякяз — усто?» («Кавказец — мастер?»). Я кивал: «Да, усто, еще какой!». Меня начали приглашать в дома. Постепенно я научился класть печи, тем более, что за работу хорошо платили — за одну печь давали пуд пшеницы. А дорсговизна

¹ Наджах — маленький топорик. (груз. «наджахи»).

в тот год была ужасной — буханка хлеба на базаре стоила сто рублей, а в семье, кроме меня, никто не работал.

Я перебиваю папу:

— А где же ты работал?

— Сначала нигде, — отвечает папа, — потом получил разрешение съездить в райком партии, чтобы встать на учет. Зашел к первому секретарю, представился, попросил помочь с работой. Он же, не слушая, направил к третьему секретарю. Там я был напористей — сказал, что я от первого секретаря и что тот велел подыскать мне работу. Так я был направлен в районный отдел народного образования. Заведующей районом оказалась Арутюнова Евгения Абрамовна — армянка, а муж ее был азербайджанцем — Халилов Мухтар Аббасович. Эти чужие люди стали потом для меня самыми близкими и дорогими — сколько участия они проявили ко мне... Кстати, и вы выросли у них на глазах. Сколько хорошего связано у меня с этими людьми — сколько вместе пережито, преодолено; а сколько было застолий, душевных бесед ночи напролет... — папа улыбается, качает головой, — всего не расскажешь.

В этот же день меня назначили инспектором района. Так началась моя тяжелая работа. В моем ведении оказалось шестьдесят две школы. Я пешком отправлялся в кишлаки, преодолевая многие километры. Иногда мне предлагали ехать на ишаках — они всегда были серыми от пыли; иногда подворачивалась машина, но в основном весь Булунгурский район искожен мной пешком до последнего кишлака.

Потом, в 1947 году, пришло сообщение о смерти Зины — я уже рассказывал об этом. Таким образом, в 40 лет я остался вдовцом и без детей. Нужно было как-то подумать о своем будущем. Жили мы по-прежнему в заброшенном доме совхоза Енгиарык. Все мы состояли на спецучете и без разрешения комендатуры не могли никуда выезжать. Я был главой семьи из десяти человек. Отец нашел нас в Енгиарыке через полгода. Баттал добрался до нас только в 1946 году. При высылке мы потеряли его жену с трехлетней дочкой, позже мы узнали, что они умерли от голода в Казахстане.

Сначала все мы думали, что вот-вот положительно разрешится наш вопрос, и мы вернемся, наконец, на свою родину. После 1946 года люди поняли, что надежд мало и начали обживаться. Глядя на других, я тоже начал строиться. К этому времени я женился на вашей маме, и нам разрешили строить

дом в районном центре Булунгуре, где позже родились вы-
трое — Тамара, ты и Марат.

Знойным летом 1948 года мы строили дом. Но прежде нам пришлось отформовать не меньше тысячи глиняных кирпичей. Фахреддин с отцом мешали раствор, Баттал подавал его, а мы с женой Раисой клали кирпичи.

Стало припекать. Подоспело время обеда. Мы умылись, поливая друг друга, и уселись за наспех сколоченный стол.

В это время во дворе появился Халил Умаров¹ — мой давнишний друг. Мы обрадовались гостю, пригласили его к столу. Для этого пыльного места он был изысканно одет и держал в руках большой портфель.

— Я услышал, вы начали строиться, приехал разузнать, — сказал он, присаживаясь. — У нас тоже начали оседать, да и мы построили домик.

Немного поговорили о строительстве. Тогда Халил учился в Самаркандском Госуниверситете на историческом факультете. Я спросил, как у него дела с учебой. Поговорив, мы пришли к выводу, что при нынешнем нашем положении людям прежде всего нужно учиться.

Прижимая руки к груди, Халил горячо говорил, что гордится, что является сыном своего народа-страдальца.


— Нет, вы только посмотрите, — восклицал он, — люди умирают в тяжелом климате от голода, болезней, но ведь ни одна женщина не вступила на путь проституции, ни одного вора нет среди нас, ни одна рука не протянута для подаяния! Поистине — стоический народ!

Я улыбнулся его пафосу, а про себя подумал: «А ведь, действительно, правду он говорит!».

Жара стала спадать, мы приступили к работе. Халил стянул с себя рубаху и начал помогать нам. С сумерками мы закончили работу, смыли с себя пыль и глину и направились домой, в совхоз, который находился в трех километрах от строящегося дома. Оказалось, у нас были гости — Поладов Мансур, Рамизов Закария, Абуладзе Шахбаз и двоюродный дядя Шахри.

В комнатах было душно, мы расположились во дворе, под деревьями. Сварились хинкали. Мы поужинали, гости похвалили молодую невестку за вкусный ужин. Было так хорошо, что расходиться не хотелось.

¹ Халил Умаров (Гозалишвили) — один из лидеров движения месхов-мусульман за справедливость.



Раиса принесла керосиновую лампу.

Мы говорили о судьбе наших соплеменников, о том, что с нами сделали и что нас ждет. К тому времени мы уже знали, что наша высылка была осуществлена Сталиным. Легко представить, как народ проклял все, что было связано с его именем.

До прибытия к нам Закария побывал в районах Пайарык, Иштихан и Каттакурган.

— Вы знаете, — сказал он, — в марте во все наши районы прибыла бригада офицеров НКВД. Всех нас заставили заполнить анкеты, в которых каждому месху была присвоена национальность «турок».

Баттал вмешался в разговор:

— Эта операция прошла и в наших районах. У Латифшаха записано в паспорте «азербайджанец», у меня — «турок», а брата Фахреддина по причине, известной только им, записали грузином. Кроме того, в анкетах было написано: «В Среднюю Азию приехал добровольно, на вечное поселение». И анкету завершала личная подпись.

Дядя Шахри прикурил от лампы, затаился, потом спросил:

— Как ты думаешь, Латифшах, для чего им нужны эти анкеты?

Тогда этот вопрос остался для нас без ответа. Все 365 дней в году коменданты и бригадиры обращались с нами, как с врагами. Мы вынуждены были мириться с арестами, с КПЗ, со взятками. На наши жалобы никто не реагировал.

При снятии со спецучета в 1956 году каждый месх должен был расписаться на двух бланках. На одном из них говорилось, что он освобождается от режима выселения, а на другом — что он имеет право передвижения и жительства на всей территории Советского Союза, за исключением старого местожительства, и что он отказывается от всего имущества, которое оставил при выселении.

В 1948-49 учебном году всех «переселенцев», имеющих отношение к педагогической работе, сняли с работы. Баттал в то время работал директором средней школы села Нибуса. Его не только уволили, комендант даже запретил ему выезжать в Самарканд для поступления в университет (до войны Баттал закончил только педтехникум). Как раз тогда у него родился сын Искандер. Жена его Рамзия, разжигая огонь в

камине, упала в него в эпилептическом приступе. Рамзию спасти не удалось. Искандера мы вырастили общими усилиями.

И я познал радость отцовства — в 1948 году у меня родилась дочь Тамара.

Как-то поздно вечером, идя домой, я подходил к окнам и вдруг услышал хныкание своего ребенка. Я остановился как вкопанный, потому что как-то пронзительно почувствовал — ведь это плачет не просто ребенок, а МОЙ ребенок, моя кровь и плоть. Это чувство так потрясло меня тогда, что я неожиданно заплакал. Я стоял и плакал в темноте под окнами. Слезы эти были радостными, они омывали душу и давали надежду на избавление от одиночества.

Жизнь тем временем шла своим чередом. Я работал инспектором района. У меня уже была большая семья — две дочери и сын. Был дом, сад, огород, скотина. Приходилось много работать по хозяйству. Кроме того, каждый год мы делали свое вино из винограда, которое требовало много хлопот: нужно было заготовить бочки, завезти виноград, потом несколько дней давить его в огромных чанах, не пропустить окончания брожения, многократно переливать его из бочек в бочки, добиваясь прозрачности...

В общем, работы хватало. Но кроме всего этого, я работал над этнографическим материалом. Работа моя началась давно, еще до войны. А об этом я еще не упоминал.

В 1941 году на весенних каникулах (тогда я работал в школе) я приехал в районный центр Ахалцихе осмотреть краеведческий музей. Я давно хотел заняться изучением своего края, его исторического прошлого, но не знал, как подступить к такой работе.

Расхаживая по пустынным залам музея, я увидел девушку, которая рассматривала стенды. Она заговорила со мной и почему-то просияла, услышав мою фамилию. Ее звали Марика. Она сказала, что ее отец директор музея и вызвалась показать мне музей, успевая на ходу сообщать всякие подробности. В частности, она сообщила, что в музее второй день работает профессор Георгий Спиридонович Читая. Я подумал — вот бы с кем посоветоваться о своем желании поработать. Георгий Читая уже тогда считался отцом грузинской этнографии. Марика, как бы угадав мое желание, предложила: «Хочешь, я тебя познакомлю с ним?». Я с радостью согласился, недоумевая о причинах такого дружеского ко мне отношения незнакомой девушки. (Причину я узнал позже: фамилия Марики тоже оказалась Бараташвили. Предки ее в XVIII веке бежали

от насильственной мусульманизации в Западную Грузию. Наше знакомство продолжалось многие годы. Сейчас Марица работает редактором журнала «Сакартвелос кали» («Женщины Грузии»), пишет прекрасные стихи.

Марица привела меня в кабинет отца. За столом сидел сухощавый человек, который внимательно посмотрел на нас. Марица сказала: «Это Бараташвили, учитель истории из села Удэ». Профессор встал — он оказался чуть выше среднего роста, протянул руку: «Читая Георгий Спиридонович». Я смутился, но, совладав с волнением, стал говорить, что меня давно интересует этнография, что я хотел бы написать историю моего родного села Удэ, но не знаю, с чего начать. Читая оживился: «Давно нужно было связаться со мной», — и принялся подробно и увлеченно рассказывать об истории Грузии, потом прервал себя, сел, стал что-то набрасывать на листке. Протянул мне: «Здесь тридцать шесть вопросов, касающихся истории, языка, фамилий, быта, фольклора. Если вы сможете дать ответы на них, считайте, что написали историю Удэ».

Я был взволнован встречей. Приехав домой, я немедленно взялся за дело. Сначала подключил к работе своих учеников. Восьмой, девятый, десятый классы получили в качестве домашнего задания поручения собрать сведения у своих отцов, матерей, дедушек, бабушек все, что касалось их семей, фамилий, фольклора и т. д. Это так заинтересовало односельчан, что школа стала местом паломничества всех желающих поделиться своими познаниями. Работало все село. Я только успевал корректировать записи и с небольшой группой ребят систематизировал их. Мы работали до 1944 года, вплоть до высылки. К тому времени были составлены генеалогии почти всех фамилий моих односельчан, был собран этнографический материал. При высылке весь этот материал я взял с собой. До 1955 года он был обработан и систематизирован. Я написал письмо Читая в АН Грузии. На все тридцать шесть вопросов даны ответы, писал я, что делать дальше? Вскоре я получил ответ от профессора:

«Дорогой брат Латифшах!

С братской любовью вопрошаю о твоём самочувствии, желаю здоровья и счастливой жизни. Если пожелаешь узнать о нас, то мы живы-здоровы. По мере сил мы помогаем нашему общему делу, боремся за лучшее нашей родины. Посланное тобой письмо мы получили, очень обрадовался. Во-первых, тому, что ты жив-здоров. А во-вторых, тому, что начатое в Грузии дело ты не забросил, а даже завершил. Я уверен, что ра-

бота, выполненная с таким вниманием, будет интересна и обязательно полезна нашей науке. Думаю, если свою работу вы пошлете или привезете, то мы ее издадим или в какой-нибудь редакции или в нашем издательстве «Наука». Но я бы желал, чтобы материал был достоверный и основывался на документальных фактах.

Недавно был организован Вардзийский музей-заповедник, он, в первую очередь, изучает памятники материальной культуры. Ахалцихский краеведческий музей по-прежнему не занимается сбором и изучением этнографических материалов. В свете этого ваш труд приобретает большое значение. От души желаю вам здоровья. Пишите о вашей работе, о том, к какому вы пришли решению и в каком вы состоянии.

С глубоким уважением Ваш брат Георгий Читая.

Мой адрес: г. Тбилиси, улица Дзержинского, 8, Академия наук Грузинской ССР, профессору Георгию Спиридоновичу Читая.

2 октября 1955 года».

Я очень обрадовался письму. Разумеется, Читая знал о нашей высылке, и то, что он ответил, говорило о его позиции, по крайней мере, о том, что он не отказался от нашего знакомства.

К тому времени я был без работы. Шла очередная «чистка» педагогического аппарата, и я попал в число ненадежных элементов. В районе было обнаружено, что вместо диплома у меня была расписка Адыгенского района Грузии о том, что мой диплом находится там. Я понял, что без диплома мне нельзя и решил добиваться разрешения выехать в Тбилиси. Заодно повидая профессора, думал я, покажу ему работу.

После смерти Сталина мы вздохнули свободно. Двадцатый съезд партии стал для нас откровением. Каждый день мы ждали известий о нашей судьбе. Но известий не было.

В Узбекистане у нас уже сложилась ячейка из коммунистов — Байрахтаров Мовлюд, Поладов Мансур, Рамизов Закария из Самаркандской области и я.

Как-то мы сидели у нас за ужином. Шло обычное застолье с тостами, с шутками, смехом. Когда мы остались вчетвером, Мансур осторожно заговорил: «Вот уже двенадцать лет, как нас выслали. Сколько было амнистий. И Сталин умер. И Двадцатый съезд прошел. А о нас — ничего». Он помолчал. Потом сказал: «Я считаю, надо будить всех наших». Мы составили список предполагаемых активистов Самаркандской области. Набралось двенадцать человек. Мы распределили их по четве-

ро на каждого из нас. Решили встретиться с каждым своим подопечным, провести с ними разъяснительную работу.

Мовлюд посетовал на то, что при высылке у него пропали документы, в том числе и диплом об окончании двухлетнего учительского института.

Тут я сказал: «На днях я еду в Тбилиси. Даю тебе слово — я привезу дубликат твоего диплома. Но и ты поклянись, что будешь с нами до конца, до полного освобождения месхов». Мовлюд поклялся, мы тоже дали клятву и разошлись только под утро.

Я добился разрешения и 12 марта 1956 года был в Тбилиси. Устроившись в гостинице, я тут же пошел осматривать город.

День выдался дождливый. И город казался мне неприветливым. Много в нем изменилось, но многое осталось неизменным. Я с радостью узнавал улицы, дома, горбатые переулки...

13 марта — холодным, сырым утром я отправился в университет. Почему-то я был уверен, что мне повезет.

Я вошел в здание университета, стал разыскивать ректора. Мне указали на человека, идущего по коридору. Я пошел за ним и, когда тот вошел в кабинет, ринулся туда.

Не предлагая сесть, он отрывисто спросил:

— Что вам нужно?

— Я скажу, — ответил я, — только присяду. Я Бараташвили, приехал из Узбекистана, — и стал излагать свое дело.

Ректор хмуро выслушал меня, потом молча наложил резолюцию на мое заявление: «Проверить личное дело бывшего студента Бараташвили Л. М. и выдать ему диплом».

В этот же день я получил и диплом Мовлюда. Я вздохнул — основное дело было сделано.

Конечно же, я захватил с собой все этнографические материалы и побывал в Академии наук. Встретился с профессором Читая. Не без волнения отдал ему работу. Через два дня мне сообщили, что Академия наук издаст мою работу.

Кроме того, я познакомился с доктором исторических наук Н. Рехвиашвили и профессором-тюркологом Серги Джикия, которые посоветовали мне серьезно заняться историей Месхети.

Плодотворным оказалось мое знакомство с замдиректора Исторического музея Грузии Вахтангом Джапаридзе, с Савле Абуладзе — преподавателем литературы университета и Па-

ле Хубутия — тоже преподавателем (он преподавал мне, еще когда я учился в комуниверситете). Все эти люди, настоящие интеллигенты, были серьезно озабочены судьбой месхов. Наше знакомство переросло потом в искреннюю дружбу, которая длилась долгие годы. За эти годы мы порой сталкивались с такими трудностями, которые угрожали даже их благополучию. Эти люди воодушевили меня на борьбу за возвращение на родину. «Вы боритесь там, а мы здесь», — сказали они мне на прощание тогда, в 1956. И я уехал окрыленный.

В Булунгур я вернулся 20 марта. 22 марта я собрал активистов из Иштихана, Джумы, Самарканда и сделал сообщение о том, что видел, что слышал, с кем встречался, какие сделал выводы. Актив поддержал меня и предложил расширить сферу деятельности.

На этом собрании мы обсудили несколько вопросов. Во-первых, как отнесутся люди к борьбе за возвращение? Во-вторых: необходимо потребовать от ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета СССР нашей реабилитации. Но как организовать работу? Советовались мы с разными людьми. Выяснили, что прежде всего с помощью юриста необходимо составить грамотное и юридически обоснованное обращение. Этот вопрос был для нас самым сложным. Мы пришли к выводу, что работу нужно поделить на две части: одна — организационная, другая — агитработа среди населения.

30 марта к нам прибыла делегация стариков — посланцев Иштиханского и Пайарыкского районов. Люди прослышали о собрании активистов и послали стариков узнать подробности. Через несколько часов приехала еще одна делегация из Булунгурского района. Встреча вылилась в многочасовое собрание. Старики уехали очень взволнованные.

На своем совещании актив решил отправить делегацию месхов в Москву, с целью добиться приема в ЦК.

Были выбраны делегаты (по районам) и оплачены их дорожные расходы.

Делегацию возглавил я.

В первой половине 1956 года усилилась наша пропаганда среди месхов о необходимости возвращения на родину. Развенчивание культа личности Сталина, материалы XX съезда партии — все это было доведено до каждого месха. В августе 1956 года актив одобрил «Заявление», написанное в адрес Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева. Там были такие строки: «Мы уверены, что после XX съезда Вы не только не

накажете нас за такое письмо, но и положительно ответите на него. С коммунистическим приветом Л. Бараташвили».

На это обращение пришел ответ из Управления делами Совета Министров Грузинской ССР. В нем говорилось о снятии с нас ограничения по спецпоселению. Но в конце было следующее: «Вы имеете право избрать постоянное местожительство в любом пункте СССР, кроме Грузинской ССР. Управляющий делами Совета Министров Грузинской ССР В. Пааташвили. 26 января 1957 года».

Хотя это письмо и нанесло первый удар по нашему делу, работа продолжалась. Мы объездили много колхозов области.

Месхи были расселены по трем республикам. Своей очередной задачей мы считали поднять и тех, кто проживал за пределами Самаркандской области. С этой целью я уволился с должности инспектора и устроился на работу в Ташкентской области — директором школы рабочей молодежи. Там я проработал год.

Вместе с нашим активистом Хамзой Азизовым мы объездили почти все районы Ташкентской области, где жили наши люди и проводили разъяснительную работу. В самом Ташкенте было много студентов-месхов. Они горячо откликались на призывы действовать активно. Ребята организовали студенческий комитет, писали письма, обращения, в которых требовали реабилитации и восстановления своих законных прав.

К этому времени актив составил обращение к Н. С. Хрущеву, и мы возлагали большие надежды на этот документ.

Я жил вне семьи. Работы было много, приходилось не спать ночами, по многу раз переписывать обращения, возвания, составлять план действий в Москве, рассчитывать минимальный бюджет проезда и проживания, чтобы ни одна народная копейка не была пущена на ветер.

Было 12 часов ночи 10 июля 1957 года. Я сидел, склонившись над бумагами.

— Папа! — вдруг услышал я пронзительный голос. Я вздрогнул — это был голос семилетней Клары. Но что она здесь делает? Я выскочил из-за стола, распахнул дверь. Никого. Я стал громко окликать дочку, обыскал все вокруг, облазил все кусты в темноте.

Вдруг я подумал — а не провокация ли это, чтобы сорвать поездку в Москву, тем более, на днях были арестованы сырдарьинские активисты. Уж не похитили ли моего ребенка? Эта мысль так ударила мне в голову, что я зашатался.

Быстро запер дверь и в крошечной тьме отправился в Булунгур, где жила семья. Клара мирно посапывала в своей кроватке. Раиса обрадовалась мне, хотя ночной приезд встревожил всех домашних. Я шепотом рассказывал, в чем дело, и все поглядывал на спящую дочку, на ее рыжие волосы, как бы боясь, что это видение исчезнет.

«Много рабстаешь», — сказали мне дома. Скорее всего, это была слуховая галлюцинация.

На поездку в Москву было собрано двадцать тысяч рублей. Для полной подготовки делегации к отъезду потребовалось около года всепоглощающей работы.

21 июля 1957 года я приехал из Сыр-Дарьи в Булунгур. Еще раз встретился с районными активистами.

К тому времени мы уже знали, что со станции Красногвардейская нам выехать не дадут. Поэтому делегация выехала окольными путями — автобусом до Каттакургана, а уже оттуда — поездом. 26 июля мы были в Баку, 28 — в Тбилиси. В тот же день мы вошли в ЦК КП Грузии.

Нас приняли заведующий отделом ЦК Ртвелиашвили и ответственный работник ЦК Куберидзе. Они убеждали нас в том, что вопрос возвращения на родину зависит только от ЦК КПСС.

3 августа делегация прибыла в Москву.

В Москве я до тех пор ни разу не был, и меня просто ошеломили забитые людьми вокзал, улицы, скверы, переулки. Чуть позже, когда нам отказали во всех гостиницах, я понял, что такое столпотворение из-за того, что в Москве в эти дни проходил VI Международный фестиваль молодежи и студентов.

Впервые я увидел так много людей разных национальностей. Звучала разноязычная речь...

Мы решили остановиться в пригороде. Купили билеты на электричку, и вскоре светлый вагон мчался среди густой зелени. Солнце врывалось в окно и так же внезапно исчезало, воздух был свежий, чуть влажный. Обстановка была непривычной, и я очень остро воспринимал все окружающее.

В Мытищах мы довольно быстро нашли ночлег — в частном доме. Хозяин Иван Михайлович оказался очень симпатичным человеком.

5 августа 1957 года мы направились прямо в ЦК КПСС. Потолкались в приемной, не зная, куда обратиться. Узнав, что мы приехали из Узбекистана, кто-то посоветовал нам обратиться к инструктору ЦК по Средней Азии. Им оказалась по-

жилая женщина по фамилии Веселова. Мы поразились ее неосведомленности о ситуации в Узбекистане. Она то соглашалась с нами, то растерянно повторяла: «Нет, нет...» Мы показали ей все наши документы — заявления, подписи.

К вечеру мы вышли из ЦК совершенно измочаленные, ничего толком не выяснив: нас целый день гоняли по кабинетам и длинным коридорам. Я почувствовал, что такое бюрократия.

На другой день мы опять были в ЦК. Из приемной я позвонил Веселовой. Она сказала, что говорила с зав. отделом ЦК КПСС по работе партийных организаций Макаровым, дала номер его телефона. Мы тут же ему позвонили. Макаров предложил перенести встречу на завтра. Нам пришлось согласиться.

Чтобы не тратить даром времени, мы решили осмотреть Москву. В тот же день я посетил библиотеку имени В. И. Ленина. Она произвела на меня сильное впечатление, хотя я привык к большим библиотекам Тбилисского университета и к читальному залу Республиканской библиотеки. Я подумал — какое счастье, что есть места, в которых сосредоточены непреодолимые ценности человечества.

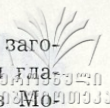
Полдня я проработал в библиотеке. Выписал все новейшие данные о закавказских республиках, полистал подшивки старых газет. В «Правде» за 20 декабря 1945 года я наткнулся на статью историков Джанашиа и Бердзенишвили, в которой они писали об отторгнутых от Грузии южных землях, в том числе и части Месхети.

Вечером в Мытищах мы написали дополнительные заявления на имя Микояна и Фурцевой с просьбой принять нас и доложить в ЦК КПСС и Верховный Совет СССР о нашем вопросе.

7 августа в 9 часов утра мы были в приемной ЦК КПСС. Нас пригласили в кабинет, где находились три человека: уже знакомая нам Веселова — инструктор ЦК по Средней Азии, Тужиков — инструктор ЦК по Грузии (оказалось, что он был в курсе всех событий), и Макаров — зав. отделом ЦК КПСС по работе партийных организаций.

Мы уселись за длинный стол. Чуть слышно жужжал вентилятор. Макаров включил магнитофон (тогда я увидел магнитофон впервые) и сказал: «Начнем, товарищи!».

Обращаясь к нам, Макаров мягко произнес: «Мы вас слушаем». Волнуясь, я начал: «Говорить можно обо всем и много».



Вот краткое изложение нашего вопроса», — и протянул заготовленное обращение на имя Хрущева. Макаров пробежал глазами написанное. «Товарища Хрущева в данный момент в Москве нет». Мы переглянулись — какая досада! «Через пятнадцать дней товарищ Хрущев вернется из Чехословакии. Дайте вам слово, что по приезде я передам ваши обращения лично товарищу Хрущеву и его референту. Но нам хотелось бы услышать суть вопроса из ваших уст».

Так же волнуясь, я стал говорить о том, как в 1944 году месхи были необоснованно и совершенно несправедливо высланы из родных мест. Сейчас они требуют возвращения на родину. Тужиков возразил: «Земля Месхети скудная и не может прокормить вас». Я возразил: «Месхи трудолюбивы, они прокормят себя». Тужиков сказал, что он это знает, мы — люди талантливые, трудолюбивые, что в 1941-44 годах именно месхи строили железную дорогу стратегического назначения — Боржоми — Вале. Знает, что эту дорогу строили женщины, инвалиды, старики.

Я сказал, что да, это было именно тогда, когда молодые месхи, как и все другие грузины, бились с гитлеровскими захватчиками. Макаров подхватил: «Да, да, советский народ перенес много испытаний, война унесла много жизней, но народ разгромил Гитлера, отстоял независимость, свободу...»

Вдруг один из членов нашей делегации, Маатдин Адамов, вспыхнув, сказал: «Прошу слова!». «Да», — приятно улыбаясь, сказал Макаров. «Я тоже воевал. Вот награды, — Маатдин указал на ордена и медали на пиджаке. — Член партии, как и вы. Отправляли меня на войну с зурной и доли¹, провожали родственники и друзья — Родину защищать. За них я и воевал. Настал долгожданный День Победы. Вы куда приехали после войны? В Москву?» «В Москву», — ответил Макаров. «Жена, наверное, встретила, дети, друзья, родные. А я вот приехал — село разорено, очаг разрушен, родных нет, друзей нет. Никого нет. И никто не знает, где их искать. Что же получается, товарищ Макаров? Ты воевал — приехал, сел в ЦК. А мы воевали для того, чтобы вы спокойно сидели в ЦК и управляли нами?». Все замолчали. Тут Мовлюд стал дергать Маатдина за рукав: «Ты что?! Антисоветские речи тут ведешь! Это тебе не собрание, это ЦК!» Я возразил: «Что тут антисоветского — речи правильные».

¹ Зурна и доли — груз. национальные музыкальные инструменты.

Веселова не проронила ни слова, Маатдин, нервничая все больше, обратился к Макарову: «Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос!».

Макаров щелкнул выключателем магнитофона: «На сегодня все, товарищи. Завтра продолжим работу». Мы эшешили. Разговор только начинался, а нас выставляют за дверь.

Мы вышли на улицу, присели на лавочке.

В работе над этим периодом мне очень помогли записные книжки отца. Как и прочие записи, они сделаны на разных языках: русском, грузинском, турецком, азербайджанском. И даже арабской вязью выведены какие-то строчки. Вот я читаю:

«10 августа 1957 года. Посетили сельхозвыставку. Говорил по телефону с Тужиковым.

11 августа. Осмотрели Третьяковскую галерею.

12 августа. Пошли осматривать МГУ. Говорили по телефону с Макаровым.

13 августа. Отправили письмо Хрущеву и Микояну.

15 августа. Посетили Кремль, Мавзолей».

Мы молча сидели, медленно приходя в себя. Почти бессознательно я начал изучать монумент из красного гранита. Оказалось, он был посвящен битве на Шипке, когда северные славяне — русские — освободили от пятивекового турецкого ига южных славян — болгар.

А у кого же просить помощи нам — месхам?

В течение ряда лет органы госбезопасности были заняты очернением месхов. Доказывалось, что мы являемся турецкими агентами и только и ждем момента, чтобы открыть границу.

Каждый переход через границу — к родственникам, по торговым делам — тщательно активировался, писались многочисленные докладные, рапорты... Рослый красавец Микеладзе выписывал своим прекрасным почерком многочисленные фамилии месхов, нарушающих границу. И ведь ни разу не забыл записать, ни разу не ошибся этот секретарь погранзаставы... Все работало на то, чтобы доказать: все месхи — антисоветские элементы. Что было делать, если Поцхов, Гыния, Коблиани, Ардаган — исконно грузинские земли. А на ней жили месхи — наши родственники, братья и друзья, к которым невозможно было не ходить на свадьбы, похороны или просто в гости. А я еще помогал вылавливать нарушителей границы...

Окончание следует.



Коба ИМЕДАШВИЛИ

Перестройка и грузинская литература

Сегодня перед нами стоит немало проблем и вопросов, требующих безотлагательного решения, из которых мы должны выделить основные, ибо только решив их, мы сможем двинуться вперед.

Для человека творческого, по-настоящему преданного своей земле, своему народу, проблемы эти, на мой взгляд, следующие: сущность творца и его роль в жизни общества, его отношение к реальной действительности; проблема языка, народа и родной земли. Они должны волновать не только писателя, но и каждого сознательного члена общества, и выработка определенной позиции по отношению к названным проблемам, мне кажется, имеет немаловажное значение для всех и для каждого.

Общезвестно, что писатель не просто отражает свое время, но и сам является выразителем его сути. О той или иной эпохе мы подчас судим по тому, какой тип художника она сформировала, какую функцию на него возложила, какое место в общественной жизни и мышлении определила ему. Взять хотя бы хрестоматийный пример: взгляды Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела, Иродиона Эвдошвили, Галактиона Табидзе на поэта, на назначение поэзии и их трансформация в творчестве современных поэтов. Произведения Ильи, Акакия, Важа Пшавела, Иродиона Эвдошвили, Галактиона — образцы высокой поэзии и высокой гражданственности. Фун-

кция служения народу в современной поэзии декларируется как всеобщая концепция, но горизонт ее ограничен конкретным временем, конкретным местом и волей конкретной личности, при этом национальные интересы зачастую предаются забвению. Проследим за интерпретацией образа-символа «весна» тогда и сейчас. Илья Чавчавадзе опубликовал два стихотворения под заголовком «Весна» — в 1858 и 1861 годах, и в обоих случаях весна, пробуждение природы, символизировала великую идею свободы.

Этот хрестоматийный образ-символ грузинской поэзии, олицетворяющий сокровенную мечту грузин о свободе, через сто лет в творчестве некоторых современных поэтов приобрел иное — упрощенное звучание, продиктованное сиюминутными событиями — скажем, сменой партийного лидера республики другим в 1972 году.

Увы, горизонт поэзии сузился, уменьшился масштаб личности поэта, видоизменилась его функция — из служителя народа, его предводителя он превратился в служителя должностного лица. Правда, с этим лицом связывались определенные надежды на обновление жизни, но не столь значительные, чтобы оно могло быть воспринято как общенациональное явление, а его деятельность могла бы иметь непреходящее значение.

Об этом стереотипе мышления, определяемом сиюминутными явлениями, я писал еще тогда, в семидесятых годах, в статье «Высоты, которые надо преодолеть» и сейчас вспомнил об этом только для того, чтобы объяснить, найти причину другому, связанному с ним явлению — синдрому разочарования и раздвоения личности, отчетливо проявляющемуся в нашей жизни и литературе. В 1972 году грузинская общественность, грузинские писатели (и я в том числе) искренне поверили в то, что в пределах одной республики возможна успешная борьба за честность, принципиальность, оздоровление общественного климата... Но когда вокруг, во всесоюзном масштабе, царят ложь, коррупция, совершаются должностные преступления, изменить что-либо в одной республике очень трудно, скорее невозможно. Все это породило в нашей литературе, особенно молодой, острое чувство разочарования, безнадежности, раздвоения. Где уж тут до весеннего обновления и очищения! Слово и дело катастрофически отдалились друг от друга. Надежды, окрылившие наше общество к концу 70-х годов, окончательно угасли, и хотя грузинская литература все же умудрилась сказать свое слово, искусство чтения между строк все-таки преобладало над другими видами искусства. Я говорю о

грузинской литературе, но такое же положение наблюдалось и в других советских литературах, в частности русской. Недаром В. Высоцкий, остро чувствовавший фальшь нашей жизни и нашу раздвоенность, писал: «Во мне два «я», два полюса планеты, два разных человека, два врага...».

Именно в раздвоении личности выразился, на мой взгляд, трагический характер нашего времени. Доставшееся нам в наследство от эпохи культа личности и последующего периода застоя это раздвоение проявилось в нашей повседневной жизни и в художественной литературе (а стало быть, и во всех областях искусства) в виде целого комплекса маргинальности. Психология — «пишем одно, думаем другое» — вызвала к жизни взаимоисключающие явления, оказав определенное влияние на язык, стиль, формирование того или иного жанра. Эта проблема сама по себе достойна внимания, но здесь я хочу отметить лишь то, что в современной литературе и искусстве на смену цельной и целеустремленной личности писателя пришла личность раздвоенная, раздираемая противоречиями. Это, безусловно, ослабило силу художественного слова, принизило роль лидера, которую во все времена выполнял истинный писатель, свело на нет его ответственность перед народом и временем.

Может быть, это и имел в виду поэт, когда писал: «Время от времени мы складываем оружие»* (Мурман Лебанидзе). Подобных цитат можно привести великое множество.

Но это вовсе не значит, что нашими писателями не были сказаны слова, единственно необходимые народу. И чаще всего их произносили страдающие «синдромом раздвоения». Именно в этом — суть трагедии современного творца, современного писателя как народного вожака. Традиция и время возлагают на него роль лидера («Возглавил я народ»), но время же и ограничивает реальную сферу этого лидерства, его возможности.

Почему каждое слово Ильи Чавчавадзе имело такой резонанс? Потому что за каждым его словом стояла реальная сила, — будь то журнал, газета, банк или Государственная дума. За Ильей стояла целая армия его единомышленников и соратников. Таким образом, он выражал не только свое, личное отношение к тому или иному явлению, но отношение группы единомышленников, представляющей определенную силу, на которую он и опирался.

Современный писатель, в отличие от него, хоть и выражает

* Подстрочный перевод

взгляды определенного слоя общества, но не имеет за собой никакой конкретной силы, за ним не стоит даже Союз писателей, точнее, стоят все и никто. Отчасти поэтому сегодня слово писателя не столь весомо, как слово наших великих классиков. И тут дело не только в таланте.

Эпоха перестройки обязывает нас, грузинских писателей, вернуть нашей литературе эту силу слова, а писателю — его исконную роль предводителя народа. Для этого он должен обрести чувство внутренней цельности, внутренней чистоты и свободы.

К сожалению, в наше время нередки случаи дискредитации грузинской литературы, иной раз даже со стороны членов Союза: ведь надо помнить, что дискредитируя грузинскую литературу, мы тем самым ущемляем интересы грузинского искусства вообще. Об этом постоянно должны помнить и писатели, и читатели.

Одно несомненно: прежде чем дать соответствующие ответы на поставленные жизнью вопросы, грузинская литература должна разрешить для себя ряд немаловажных проблем творческого и методологического характера.

Главнейшая из них — наряду с внутренней цельностью творца — отношение к действительности, выявление в ней тенденций будущего и активная поддержка этих тенденций. Именно в этом писатель должен быть бескомпромиссен, терпим, честен.

Любой род человеческой деятельности, даже потаенная мысль, всегда обуславливается причиной и целью, определяемыми тем или иным временем. Цель чаще всего определяется настоящим, преходящим, реже — будущим. Нередко то, что по меркам сиюминутности кажется нам весьма значительным, для будущего не имеет никакой ценности, и незначительное, на наш мгновенный взгляд, именно в будущем становится неизмеримо важным. Писатель как личность и как творец должен разобраться в противоречиях между целями сиюминутными и непреходящими, увидеть тенденции будущего в сегодняшнем дне и привлечь к ним внимание общественности. Мы — диалектики, нам хорошо известно, что корни будущего — в настоящем, но известно и то, что тенденции будущего зачастую отрицают сиюминутные запросы, между настоящим и будущим — постоянная борьба. Истинный талант всегда служит будущему. В нашей литературе есть немало примеров такого беззаветного служения. Но мы помним и другие примеры, может быть, гораздо более многочисленные. Ограничусь двумя из них. В 25-ю

годовщину Советской Грузии в Тбилиси вышла книга стихов, посвященных Сталину, — в сборник вошли произведения сорока пяти грузинских поэтов. В 1952 году вышел другой поэтический сборник, в который наряду с произведениями сорока одного грузинского поэта вошли стихи тридцати шести советских и двадцати семи зарубежных поэтов. Сиюминутное стало ведущей темой поэзии, которая превратилась в активного создателя культа личности, принесшего столько горя нашему обществу. В литературе и искусстве на этом отрезке времени превалировали тенденции и концепции, продиктованные сиюминутными целями. Сегодня мы должны во всеуслышание признать это как горький урок прошлого. Разве интерпретация образа «весны», о которой говорилось выше, поверхностность и скоропалительность в определении национальных целей могут вызвать что-либо, кроме иронической усмешки? Мы освобождаемся от культа Сталина, но куда трудней освободиться от культа вообще.

Мы помним множество публицистических статей, очерков, стихов, рассказов, романов, пьес, которые писались в поддержку сомнительных проектов. Подобная тенденция, увы, до сих пор не изжила себя. Всегда будут цели сиюминутные и цели, устремленные в будущее, но в случае их противопоставления надо не колеблясь отдать предпочтение последним. Отражая в основном настоящее, литература служит и будущему, выступает ее страстным защитником.

В моих словах нет ничего нового, настоящая грузинская литература (и не только грузинская) всегда была такой. Я хочу лишь напомнить, что, отступая от этих принципов, мы всегда ущемляем собственные национальные интересы. К сожалению, авторитарный режим и противоречивая теория социалистического реализма только способствовали такому отступлению. Теория социалистического реализма, как известно, в свое время была создана под диктовку Сталина и исключала плюрализм как в мышлении, так и в образе жизни. Вне плюрализма же свободное развитие искусства невозможно. Современная грузинская литература, как и вообще советская литература и искусство, не укладывается в прокрустово ложе социалистического реализма — это тот случай, когда практика опровергает теорию.

Практика опровергла все основные теории, сформировавшиеся в эпоху культа личности. Мы освобождаемся от сталинского догматизма в области экономики, политики, языкознания, философии, науки наконец, и до сих пор топчемся на месте в

области эстетики и теории литературы. Пришла пора пересмотреть основные положения искусственной теории социалистического реализма, никак не соответствующей жизненной практике.

Видимо, наступило время полного переосмысления путей развития советской литературы вообще и грузинской в частности на основе анализа реального и многообразного материала, а не исходя из субъективных желаний того или иного должностного лица.

Идеи перестройки, обновления общества зрели в самом искусстве и литературе. В частности, в недрах грузинской литературы родилось (хотя и спонтанно) немало идей, работающих ныне на перестройку. И тот факт, что перестройка не застала наше общество врасплох, безусловно, надо поставить в заслугу и грузинской литературе. Впрочем, роль литературы могла быть гораздо значительнее, не будь столь ограничены ее общественные права, не будь так силен почти в каждом писателе внутренний цензор.

Истинный писатель должен быть не просто летописцем своего времени, но и футурологом, озабоченным будущим общества, полноправным представителем этого будущего в настоящем и от имени будущего противостоящим всему тому, что представляет угрозу свободному развитию человека и общества. Он обязан говорить только правду, и его Слово должно служить нравственным камертоном для всего общества.

Именно поэтому неизмеримо велика ответственность творца перед временем и народом. Примечательно, что слово «творец» равно относимо и к Богу и к художнику, и это ко многому обязывает.

Принцип поиска истины должен определять отношение грузинских писателей к трем святыням — народу как этнической единице, языку как выражению народной души и земле как месту обитания грузин. Все это вместе взятое и составляет Грузию — многострадальную древнейшую страну, вечно живущую надеждой на будущее.

Грузинская литература издревле выступает верным стражем этих святынь и, как показала история, превосходно справляется с этой миссией. Долг современных писателей продолжить дело своих предшественников.

Надо сказать, что грузинский язык никогда не оберегался с такой тщательностью, как в наши дни, никогда не был предметом столь пристального внимания, как сегодня. Нам по-доброму завидуют украинцы, белорусы, киргизы... Завидуют на-

шим грузинским школам и грузинским театрам, параграфу в Конституции, провозглашающему грузинский язык государственным языком СССР. Но... именно в наши дни грузинскому языку, а точнее грузинскому литературному языку, грозит опасность превратиться в сугубо книжный язык. Дело в том, что определенные слои общества в своей профессиональной деятельности уже не изъясняются по-грузински или же говорят на смешанном грузино-русском. В этом случае искажаются оба языка. Проблема чистоты языка, стоящая перед русской или любой другой культурой, как будто должна насторожить и нас, но мы почему-то делаем вид, что у нас все в порядке. Это прекрасно, что издаются различные словари технической терминологии, но вот вопрос: используются ли технические термины в быту, в каждодневном нашем общении? Известно, что техническая и научная интеллигенция (за исключением гуманитариев) грузинской терминологией фактически не пользуется, документация ведется на русском языке, даже статьи и диссертации пишутся по-русски. Профессиональные разговоры в сфере культуры зачастую ведутся на русском языке (киносъемки, театральные репетиции, лекции, спортивные тренировки, официальные мероприятия и т. п.). Как я уже говорил, при этом уродуются оба языка, и очень часто смешанная грузино-русская речь свидетельствует о незнании оратором ни грузинского, ни русского, об элементарном языковом бескультурье. Таким образом, довольно большая часть словарного фонда — профессиональная терминология — фактически утрачивает свою функцию, что представляет большую опасность для самого существования языка, а следовательно, и для нашей национальной сущности. Какой смысл изучать язык, если не используешь его в повседневном профессиональном общении, есть ли необходимость осложнять жизнь подростка и заставлять его учить то, что никогда не пригодится в жизни — такова логика обывателя, подсказанная самой жизнью.

Вспомните выступление украинского писателя Б. Олейника на Пленуме правления СП СССР. Он тоже говорил о логике обывателя, некоего «истинного украинца», который так откомендовался ему в своем письме. «Истинный украинец» писал Б. Олейнику, что его сын, закончив семь классов, не хочет продолжать изучение ставшего бесполезным украинского языка. Лучше эти часы, считает автор письма, с большей пользой употребить на изучение русского или алгебры. Зачем забивать голову ребенку тем, что ему никогда не понадобится?

Вот к чему привела украинцев атмосфера, в которой род-

ной язык утратил свою общественную и государственную функцию, и все попытки сохранить национальный язык или историческую память выдавались за националистические выверты, а ограничение или фактическое упразднение украинского языка в детских садах, школах, вузах, в различных областях общественной жизни — за проявление интернационализма. Вот к чему привела уступка позиций языка в национальной республике. И это уже — реальность, а не теоретические предположения. Пусть же она послужит нам уроком.

На том же Пленуме писательница М. Ганина в своем выступлении сказала: ежегодно из братских республик поступают сведения о том, что сокращается число детских садов и школ, где обучение ведется на родном языке. В этом, — говорит она, — виноваты не столько русские чиновники, сколько подыгрывающие им национальные кадры.

Подмечено отчасти верно, но все же не следует снимать ответственности с лиц, которые в застойный период старательно проводили политику обрусения. Чтобы не быть голословным, напомним: требование Всесоюзной аттестационной комиссии представлять диссертации (а не авторефераты, как это было раньше) на русском языке оказало отрицательное влияние на развитие национальных языков. Оно поставило русских и нерусских соискателей ученых званий в неравное положение, хотя бы в финансовом отношении. На перевод нужны деньги. Впрочем, есть выход: писать прямо по-русски, тогда и перевода не понадобится. И вот цикл функционирования языка — детский сад—школа—вуз—рабочее место — в своем последнем звене нарушается, а это создает угрозу для национального языка в начальной стадии его функционирования, а отсюда — угрозу его существованию вообще.

Грузинские писатели, исходя из общенациональных целей, должны защитить родной язык от грозящей опасности. И не только писатели, каждый из нас обязан проявить заботу о языке, поскольку, повторяю, если язык не будет живым участником жизни во всех ее областях, он начнет отмирать. Это — наш долг, и мы не можем перекладывать его на плечи других. Если мы хотим, чтобы грузинский язык существовал не как памятник, а как живой организм, выражающий сущность народа и формирующий его душу, мы должны воспитывать в каждом из нас чувство ответственности перед ним.

Следует подумать и о том, что в силу определенных причин, в частности, ведения учрежденческой документации на рус-

ском языке, мы целенаправленно идем к такому билингвизму, когда предпочтение практически дается одному языку, русскому.


Как известно, на упомянутом Пленуме правления ССП СССР со всей остротой встала проблема национального языка. Многое было сказано, о чем прежде предпочитали умалчивать. Во Фрунзе, например, функционирует одна киргизская школа, одна-единственная белорусская школа имеется в Минске. На Украине дискутировался вопрос преобразования единственного украинского университета в русский университет, украинских театра и газеты — в русские. Таков результат политики двуязычия в ущерб национальному языку. И если Ч. Айтматов требует конституционного узаконения двуязычия, то очевидно только потому, чтобы придать киргизскому языку статус государственного языка, спасти его. Безусловно, иные братские республики с доброй завистью взирают на нас, но у нас есть свои проблемы.

Мы живем в Советском Союзе и, естественно, должны владеть русским языком как языком межнационального общения, языком великой русской литературы. Но не следует забывать, что в Грузинской Советской Социалистической Республике государственным языком является грузинский язык со всеми вытекающими отсюда правами. Стало быть, все официальные мероприятия или юбилеи должны проводиться на грузинском языке. Увы, в дни юбилейных торжеств Ильи Чавчавадзе этот закон не сработал... Вспомним, Илья Чавчавадзе, превосходно владевший русским языком, был непримиримым противником двуязычия и в то же время — активным сторонником приобщения к русской культуре.

Доскональное знание родного языка подразумевает причастность к заложенной в его недрах национальной идеологии, неосознанное порой проникновение в завещанное предками мировоззрение. Подросток в первую очередь должен изучать родной язык, и только в этом случае он сможет преодолеть внутреннее сопротивление языку неродному. Мы должны сделать все, чтобы наши дети с любовью учили как русский, так и иностранные языки, а эту любовь не привить ни двуязычием, ни интернациональной школой.

«Пишите на том языке, с которым родились и выросли. Двух языков человек знать не может. Понимать, знать, чувствовать всякую мельчайшую мелочь, всякий оттенок... Что, можете вы, например, подмигнуть читателю по-французски?» (Г. Адамович. Воспоминания о Бунине. Знамя, № 4, 1988).

Игнорирование национальных языков, их притеснение



особенно ужесточилось во времена Суслова. Политику, которую вел Суслов, человек нерусской национальности, но одержимый великодержавным шовинизмом, была и не умной, и не чело-
вечной. Недавние события в Казахстане, Литве, Якутии, Азербайджане и Армении являются прямым результатом отступления от основополагающих принципов ленинской национальной политики. Забвение их в условиях нашего многонационального государства, как правило, приводит к печальным результатам.

Сегодня необходимо полное и глубокое осознание явления двуязычия, обозрение перспектив, которые оно сулит, и принятие конкретных шагов. Недопустимым, на наш взгляд, является тот факт, что в негрузинских школах Грузии изучение грузинского языка, грузинской истории или географии не считается обязательным. Это активно способствует разобщению людей разных национальностей уже со школьного возраста, ибо ничто так не сближает людей, как знание языка и истории друг друга. Непонятно и то, почему до сих пор не составлены и не изданы грузино-армянский и армяно-грузинский, грузино-абхазский и абхазско-грузинский, грузино-осетинский и осетино-грузинский словари и разговорники. Правда, недавно вышел в свет грузино-азербайджанский словарь, но общей картины это, конечно, не меняет. Да что там словари, когда у нас до сих пор нет учебников по грузинской музыке, а роль грузинского языка и литературы на приемных экзаменах в вузы постоянно умалется.

Нас часто вводит в заблуждение внешне спокойное течение нашей жизни, когда на поверхностный взгляд кажется, что все у нас хорошо. Это касается и развития языка, и межнациональных отношений. Как известно, Грузия — республика, в состав которой входят две автономные республики и одна автономная область. По величине территории она находится на десятом месте среди союзных республик, а по численности населения — на восьмом, радиопередачи в ней ведутся на семи, телепередачи — на трех, а газеты выходят на шести языках, значительную часть ее населения после грузин составляют армяне и азербайджанцы. Однако наша литература не уделяет должного внимания вопросу межнациональных отношений и его отражению. А если и отражает, то зачастую односторонне, парадно. Если не подойти к этой проблеме разумно, она может перерасти в серьезнейшую политическую проблему. Конечно, очень хорошо, что пишутся стихи и очерки, посвященные дружбе народов, но особо важно, чтобы народы знали и уважали

друг друга, а для этого они должны знать историю друг друга, обычай, литературу и язык.

Чего мы хотим, что нас беспокоит, о чем мы мечтаем? Справедливы ли наши притязания, благородны ли наши устремления?

На все эти вопросы непременно надо дать ответы, спокойные, аргументированные, взвешенные. Непременно! В Нагорном Карабахе не произошло бы трагедии, будь национальная политика там на должном уровне.

Все аспекты нашей действительности, в том числе межнациональных взаимоотношений, должны находить исчерпывающее отражение в грузинской литературе, причем отражение лояльное, с позиций доброты и отзывчивости. Опрометчивость в столь деликатном вопросе, который, увы, демонстрируют иные представители наших братских литератур, лишь способствует разжиганию национальной розни. Мне бы не хотелось распространяться на этот счет, тем более, что в альманахе «Критика» (1988, № 1) уже дана оценка одному из таких проявлений, в частности, в рассказе Фазиля Искандера «Умыкание, или загадка эндурцев» (имеется в виду статья Р. Миминошвили «Правда»).

Недавно вышла отдельным изданием книга Р. Джапаридзе «Четыре дня в стране Айоса». Читатели «Литературной Грузии» уже познакомились с ней в русском переводе. Это проникнутое любовью произведение о соседней Армении, вероятно, будет переведено и на армянский. Задумаемся, есть ли у нас аналогичные произведения об армянах, проживающих в Грузии? Нет. Нет ни одного произведения и об азербайджанцах — жителях Грузии. Мы не знаем, какие процессы происходят в их сознании, какие чувства рождает в них ощущение изолированности от нас? Нам ничего не известно об этом, а если и известно, то на уровне сплетен. Недавно из статьи Ионы Андропова, опубликованной в «Литературной газете», мы узнали, что у Азербайджана, оказывается, есть какие-то территориальные претензии к нам. Спасибо, сообщили. Мы обязаны разобраться в этом вопросе сами и разъяснить его другим, выяснить наконец, насколько справедливы эти наши взаимные претензии. Короче, мы должны управлять процессом межнациональных отношений. Роль литературы и публицистики в этом деле трудно переоценить.

Долгое время мы закрывали глаза на планомерное угнетение и насильственную ассимиляцию ингилойцев — исконно грузинского племени, проживающего на территории, с 1921 го-

да отошедшей к Азербайджанской ССР. Политику эту довольно открыто проводило прежнее руководство республики во главе с Алиевым. Дело дошло до того, что сегодня азербайджанские ученые принялись утверждать: ингилойцы — те же азербайджанцы. Кому это надо?

Мы уже знаем, к чему привела безответственная, поощряющая экстремистов политика в Нагорном Карабахе. Дружба народов только тогда будет истинной дружбой, когда между народами не будет недомолвок, когда все наболевшие проблемы будут не замалчиваться, а разрешаться. Долг грузинских писателей проявлять заботу обо всех грузинах, живущих за пределами Грузии. Интересовались ли этой проблемой грузинская беллетристика и публицистика прошедших десятилетий? Увы, нет!

Ежегодно к нам в Грузию из Армении и Азербайджана поступает множество учебников для национальных школ, художественная литература на армянском и азербайджанском языках, налажена тесная связь школ, редакций газет, выходящих на этих языках, со своими республиками. Обеспечиваем ли мы вот так же пищей духовной грузинские школы вне пределов Грузии, тех же ингилойцев, например? Можем ли мы беспрепятственно посещать и посещаем ли наших собратьев в Саингило? Нет. Во всяком случае, до последнего времени было так. Здесь, дома, мы можем биться над какой-нибудь малозначительной проблемой, забывая о том, что каждый наш визит в Саингило — праздник для ингилойцев. Будем помнить об этом.

В последнее время на страницах центральных периодических изданий появляется немало публикаций, отдающих антигрузинским духом. К сожалению, некоторыми «Покаяние» было воспринято только как наше покаяние, Сталин осознан как грузинский феномен, Берия — как грузинский кошмар. И никто уже не помнит, сколько грузинских революционеров, писателей, инженеров, рабочих и крестьян стали жертвами вакханалии беззакония. У нас есть что сказать обо всем этом, и произведения Отара Чхеидзе, Нодара Думбадзе, Арчила Сулакаури, Григола Абашидзе, Тенгиза Буачидзе, Маки Джохадзе далеко не исчерпали тему. Это, наверное, объясняется тем, что эта проблема с трудом проходила заслоны цензуры. В прошлом году в журнале «Мнатоби» был наконец опубликован написанный очень давно роман Тины Донжашвили «Гонджаура» («Литературная Грузия» начала публиковать его перевод лет десять назад и смогла завершить публикацию лишь в прошлом году). В нем показана трагедия честного человека и труженика, которому трудно жить в обстановке тотальной подозрительности и террора —

будь то военное или послевоенное время — в Грузии ли, России или Казахстане, куда в 1949 году выселили немало грузин. Эта тема только-только начинает осваиваться нашими писателями. Из новых произведений в этом отношении интерес представляет опубликованный в журнале «Гантиади» рассказ Джабы Иоселиани «Санитарный поезд».

На долю Грузии выпало очень много бед и несчастий. Судите сами, сколько человеческого горя вместили в себя двадцать первый, двадцать четвертый, тридцать седьмой, сорок четвертый, сорок девятый, пятьдесят первый, пятьдесят шестой годы... Сколько людей расстреляно, сколько погибло в ссылках... Цвет нации.

И все же тема массовых репрессий только-только намечается в грузинской литературе, литературный памятник национальной трагедии еще не воздвигнут. Роль первопроходца, собирателя материала в этой области, на мой взгляд, должна взять на себя публицистика. Что мы знаем, к примеру, о судьбах грузин, живущих ныне в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, России? Ничего!

А время идет. Поколения сменяют друг друга. Вчерашний наш день не отражен ни в учебниках по истории, ни в мемуарах и, если мы не начнем немедленно собирать свидетельства участников трагедии, их воспоминания, документы той эпохи, значительный период жизни нашего народа, в каком-то смысле определивший его сегодняшнюю психологию, останется неизвестным и для нас, и для других. Недавно на страницах «Литературули Сакартвело» появились первые ласточки — воспоминания Михаила Мгалоблишвили и Нуцы Гогоберидзе, жертв сталинских репрессий. Не осталось в стороне и телевидение, показавшее нам диалог писателя Гизо Зарнадзе с Василием Киквадзе, племянником Ольги Окуджава, жены Галактиона, также одной из жертв репрессий. Все эти и подобные им материалы должны стать достоянием русскоязычного читателя, широкая читающая публика должна, наконец, узнать, что правление Сталина, Берия и им подобных ничего, кроме кровопролития, Грузии не принесло.

Парадоксально, но факт, что перед многомиллионным русским народом и малочисленным грузинским народом стоят одни и те же требующие незамедлительного разрешения проблемы, главной из которых является сохранение национальной самобытности. В России родилось неформальное объединение «Память», которое поначалу ставило перед собой вполне благородную задачу защиты памятников русской культуры, но потом

замынулось и на большее — проявляя определенный интерес к политике. К сожалению, воинствующее крыло «Памяти», как отмечали «Известия» и «Комсомольская правда», проповедует неонацистские взгляды. Трудно поверить этому, но хотим мы того или нет, сегодня, видимо, это уже реальность, и не принимать ее в расчет нельзя. Трудно поверить и в то, что журнал «Наш современник» и ряд известных писателей, среди них Валентин Распутин, поддерживают это движение. Мы должны противостоять ему, противостоять организованно, с позиций национального достоинства и нравственности, традиционного для нас интернационализма. Тут уместно вспомнить, что национальные распри в Грузии никогда не доходили до кровопролития. Наша история в этом отношении поучительна. Нельзя сохранить свое национальное достоинство, унижая или глумясь над национальным достоинством другого, это так же верно, как и то, что мирное сосуществование с другими народами не должно повлечь за собой ущемления своих национальных интересов. Дружба в отличие от любви не может быть односторонней, она предполагает участие обеих сторон.

Почему сегодня так остро стоит перед нами эта проблема — сохранение национальной самобытности? И вообще, почему так обострился национальный вопрос у нас в стране?

Сегодня опасность грозит численности народа, его этническому составу (или этнической чистоте), культуре, языку, национальному здоровью — телесному и духовному, опасность грозит изнутри, от самого народа, и извне, от других народов.

От литературы требуется здесь большая работа, чтобы патриотизм не переродился в шовинизм, а интернационализм — в космополитизм, национальный нигилизм; осторожность — в трусость, смелость — в безрассудство. Экстремистам из «Памяти» и другому подобному объединению надо противопоставить контробъединение, противопоставить силу того же русского или грузинского слова, силу интернационализма, разума, человеколюбия... Любовь, терпимость, бескомпромиссность — вот, чем мы должны руководствоваться в своих действиях. И не надо закрывать глаза на омрачающие наши межнациональные отношения явления или тенденции, поскольку таким образом мы не излечимся от болезни, а загоним ее внутрь.

Межнациональные отношения в основе своей исключают высокомерные наставления, какое бы то ни было преимущество одной нации перед другой. Почему в свое время так возмутила грузинскую общественность «Ловля пескарей в Грузии» В. Астафьева? Потому что в этом произведении было усмотре-

но именно это высокомерие по отношению к грузинскому народу. Никто лучше нас самих не знает наших недостатков, не надо нас поучать. Такое отношение к нам проявляется, к сожалению, нередко. Многие поняли гласность как возможность говорить все, что придет на ум, забывая о том, что гласность и демократизм немыслимы без осознания личностной ответственности за свои слова и действия. В журнале «Литературное обозрение» не так давно была опубликована беседа Александра Егорова с Юрием Черниченко, беседа острая, злободневная, полезная. И вдруг в ней натываемся на фразу: «Сейчас в Казахстан, Узбекистан, Туркмению посылают много русских работников, людей из других республик. Что, грубо говоря, туда импортируется? Не знания, не мастерство. Ввозится честность».

Вот так походя наносится оскорбление многомиллионному населению трех среднеазиатских республик, потому что нет ничего более оскорбительного для народа как понятие импорта совести и честности. (Точно так же была оскорбительна для грузинского народа статья «Приданое», опубликованная в «Комсомольской правде». И хотя та же газета устами одной из своих читательниц объявила: «нам не до амбиций нации», мы убеждены, что сохранение национального достоинства, национальной самобытности сегодня — главная политическая проблема, более того, гарантия существования советского государства).

Очевидно, для пресечения подобных настроений ТАСС опубликовал заявление старшего следователя по особо важным делам при Генеральном Прокуроре СССР Т. Гдляна: «Я хочу категорически возразить против формулировки, которая иногда мелькает на страницах некоторых газет — «узбекское дело». Нет и не может быть только «узбекского дела». Уголовное дело, которое нами расследуется, — дело преступников высоко-го ранга из различных ведомств и регионов страны. Многие нити ведут в Москву к ряду высоких лиц, которые до сих пор находятся на своих постах». («Известия», 28 апреля, 1988 г.). Беспристрастному следователю, наверное, лучше всех известны границы и характер совершенного преступления.

Никакие внешние силы не смогут научить народ честности. Честность — в недрах самого народа, не надо мешать ее проявлению.

А проявляется она самым различным образом — в отношении к собственной личности, к ближнему, к живому существу, к родной земле, окружающему миру. Что скрывать, но зачастую взаимоисключающие требования, предъявляемые нам в

нашей хозяйственной деятельности, вынуждают нас идти на сделку с совестью, они же помогают формулировать концепции, оправдывающие наше поведение. К сожалению, литература как выразительница официальных взглядов, часто способствовала этому процессу; в частности, она вслед за школой годами прививала учащимся мысль об антагонизме человека и природы. Школьник-грузин заучивал слова Важа Пшавела: «Природа в нас и мы — в ней, живые и мертвые — мы принадлежим ей», его «Рассказ косуленка» и другое, фактически только — для контрольной работы на тему «Природа в творчестве Важа Пшавела». В действительности же ему вдалбливали другое: победы, подави, переделай, пересоздай! И грузинская литература внесла свою лепту в кампанию покорения природы. Вот еще конкретный пример, как сиюминутное возобладавало над вечностью, над будущим. В результате мы пришли к полнейшему социально-экологическому индифферентизму. Можно утешать себя лишь тем, что и в остальном мире только начали поворачиваться лицом к природе, но мы и здесь отстаем, и судьба Байкала, Арала, Севана, наводнения и лавины в Грузии еще раз напоминают о том, что менять надо не только хозяйственные планы, но и характер мышления, в разработке которого огромная роль принадлежит искусству вообще и литературе в частности.

На наших глазах происходят значительные изменения в жизни, самое главное из которых, пожалуй, то, что человек превратился в мощную геологическую силу, способную изменить (и изменяющую!) существующие на земле пропорции — относится ли это к уровню Мирового океана или защитному слою озона вокруг Земли. Каждый из нас, вольно или невольно, используя достижения современной цивилизации, нарушает установившееся на Земле на протяжении миллионов лет равновесие...

Разве можно, скажем, проектируя какое-нибудь грандиозное строительство, одновременно не задуматься о том, как оно будет взаимодействовать с природой, землей, водой? Открытое обсуждение проектов, безусловно, первая необходимость на пути их претворения в жизнь. Их набралось в достаточном количестве, — отмечает Отар Чиладзе в своей статье «Ради жизни», опубликованной на страницах «Литературной Грузии» (№ 5, 1988), — но, как видно, мы не смогли уделить им должного внимания, точнее, не смогли оценить по достоинству ни в свое время, ни потом (об этом же говорит в своих последних статьях и Г. Панджикидзе).

Причину всего этого О. Чиладзе совершенно справедливо усматривает в самом человеке, в выборе им ложных ориентиров, в подмене истины суррогатом на пути, ведущем к великой цели. Именно эта подмена и склонность к миражам являются причинами трагизма современного человека, современного общества. Надо отметить и то, что «личность, с таким трудом взращенная на протяжении веков в душе человека, мельчает с ужасающей быстротой». Ответственность за это наряду с семьей и школой ложится и на литературу, на ту самую литературу, которая на протяжении многих десятилетий внушала человеку мысль о безнаказанности общества или личности, действующей от имени общества. Сегодня мы открыто признаем, что школа, воспитывая личность, ошиблась в главном — в направлении процесса формирования нравственных критериев. Но ведь в этом же процессе принимала участие и литература! Стало быть и она в ответе за то, что концепция единения человека и природы осталась только в качестве темы для контрольных работ, а не стала частицей души каждого из нас, фактором, определяющим нормы нашей жизни, что любовь к ближнему погасла в нас, что о плоти мы думали больше, чем о душе.

Мы хотим оглянуться назад. Может быть, даже вернуться к исходному. Мы ищем новые пути, которые приведут нас к истинной цели — свободному обществу, свободному человеку. Надо иметь большое мужество, чтобы, признавшись в своих ошибках, расчистить фундамент от развалин и начать новое строительство.

Нам предстоит много работы. Пришло время возвращения к традициям — традициям любви и гармонического единства, издревле характеризующим грузинскую литературу.

Сегодня в мире формируется новое мышление — каждый человек ответствен за то, что творится вокруг. Земля принадлежит человечеству, а не отдельным государствам. Человек — сын своего времени, своего общества и в соответствии со взглядами, целями и моралью своего времени, своего общества он всегда должен защищать Землю. А время и общество не остаются неизменными, они — в диалектическом противоречии. Литература должна оказывать влияние на человека, осторожно и уверенно вести его по лабиринтам нашего сложного времени. Это одна из важнейших задач, стоящих перед грузинской литературой и искусством, в этом ее великая ответственность перед Нацией и Всевышним.





Саргис ЦАИШВИЛИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОКОВ

ТРУДНО сказать, когда мы признали Гурама Асатиани одним из лидеров грузинской критической мысли. Такое не происходит вдруг, тем более в том жанре литературы, которому он служил.

В 60-х годах к его слову прислушивались как представители старшего поколения литераторов, так и те, кто к тому времени делал свои первые шаги в литературе.

Сегодня трудно назвать более или менее значительного писателя, о котором Гурам Асатиани не высказал бы своего мнения. Ему удавалось фиксировать в самом зародыше иные такие тенденции современной грузинской литературы, которые со временем проявлялись довольно четко. Он обладал редким даром подмечать все новое, неординарное.

Поколению, вышедшему на литературную арену в 50—60-е годы, пришлось практически все начинать заново. Какой вклад внесло оно в утверждение нового, покажет будущее, по видимому не столь уж далекое.

Гурам Асатиани был достойным представителем этого поколения, оставившим яркий след в истории современной критической мысли. Он прожил короткую, но насыщенную жизнь, освященную личным обаянием и всеобщей любовью.

◆ О своей профессии, творческом призвании Гурам Асатиани неизменно говорил с юмором, самоиронией. Он не выказывал обиды, когда какой-нибудь залетный гость грузинских писателей неуважительно отзывался о той области нашей литературы, которой он отдавал свои душевные силы. Терпимость — высокая духовная категория, характеризующая человека; сумевшего подняться над своими печальми и заботами.

Он ставил своей целью решение наиболее сложных задач в жизни и литературе и именно в этом видел высокую миссию критика, оценивая его деятельность по тому, что сделано в данном направлении. Все разговоры о грузинской литературе вне контекста мировой литературы он считал пустым делом, выступая яростным противником прогрессирующего провинциализма. Он остро чувствовал тотальное наступление этого недуга, порой скрывающегося под маской лженауки, порой же с так называемой «журналистской» непринужденностью засоряющего духовную атмосферу.

Можно было только удивляться, как, отдавая все силы борьбе за утверждение высоких идеалов в литературе, он успевал сокрушать «мелкое зверье», так бесстыдно заявляющее о себе то с экрана телевизора, то со страниц газет и журналов. Здесь оканчивалась сфера юмора. Его правдивое слово становилось ядовитым и беспощадным.

Гурам Асатиани действительно был ярким талантом, а его творчество — еще одно свидетельство того, что проводить глухие границы между различными областями словесного искусства — напрасный труд. Его лучшие статьи или эссеистские зарисовки — сами по себе художественные полотна. Доминантой звучат в них личный опыт автора и впечатления, идущие от самой действительности.

Его ищущий ум выявлял основные тенденции в литературе, акцентируя наше внимание на точных деталях, он придавал жизненность своим высказываниям. Потому и покоряла читателя его манера повествования, мастерство, с которым он открывал нам изображенную им же художественную действительность.

А эта действительность была не так уж проста и понятна. Гурам Асатиани никогда не упрощал задачи писателя и зачастую дразнил любознательного читателя неразрешенными, до конца не расшифрованными вопросами. Точнее, это был его испытанный прием. Он заряжал читателя счастливым чувством сопричастности к исследованию проблемы, выводя его на широкую арену активного мышления.

В этом, на мой взгляд, и кроется один из секретов большого успеха лучших статей или эссе Гурама Асатиани, а его популярность среди наших читателей свидетельствует об истинной победе грузинской критической мысли.

Как писатель, литературовед, критик он формировался на протяжении десятилетий. Год от года рос его талант и интерес к проблемам широкого масштаба. Яркое подтверждение

этому — его последняя работа «У истоков», в которой наряду с неординарными мыслями представлен целый ряд острых наблюдений. Вслед за известным эссе Геронтия Кикодзе «Из психологии древних иберов» эта работа Гурама Асатиани — интереснейшая попытка исследования грузинского характера.

За каждой строкой здесь чувствуется редкий дар автора, уже достигшего поры зрелости, к самонаблюдению и самоанализу. Трудно переоценить значение «У истоков» в деле изучения национального характера и основных характерных черт нашей культуры.

Несгибаемая воля Гурама Асатиани ушла на борьбу со словом. Как легко читается каждая его строка, как очаровывает прозрачность стиля и как горько ошибется тот, кто припишет все это только его таланту. Бессонными ночами выплавлялась драгоценная руда (это его любимое выражение), из которой, по воле автора, добывалось то самое, единственное, обладающее прочностью металла слово.

◆ А катастрофа близилась неотвратимо, скрытая, как любовь, и беспощадная, как смерть. Но и в эти тяжелые дни он еще раз дал нам почувствовать, что самая великая религия для него — любовь, а единственная форма существования — артистизм.

Он не позволил нам хоть как-то выразить свое сочувствие его близким. Говорил только о деле, о нашей литературе, о нашем завтрашнем дне, о том, что еще не сделано и что необходимо сделать... Потом вдруг как бы уходил от неотступных пронзительных взглядов посетителей и погружался в собственные мысли.

Автор «У истоков», несомненно, убедил себя, что постыдно склонять голову перед судьбой, и до самого последнего своего вздоха сохранил страстную любовь к жизни.

Гурам Асатиани был связан со своим народом, страной, и, конечно, в первую очередь родным городом — Тбилиси множеством нитей, видимых и невидимых.

Круг его друзей и знакомых был очень широк, они относились к нему с неизменными любовью и уважением. Он часто спорил со своими друзьями, но их мнение по поводу того или иного вопроса всегда интересовало его. Редкое качество, безусловно, заслуживающее внимания. На свое занятие иногда не лишне посмотреть со стороны, чтобы не стать невольным пленником своей профессии. Это в первую очередь касается писателя, литератора, который просто обязан быть в гуще жизни.

Деятельность Гурама Асатиани была ярким примером такого отношения к своему делу.

Шесть лет как с нами нет Гурама Асатиани. Грузинской литературе, всем нам недостает его умного слова, его крылатой мысли. Я уверен, Гурам Асатиани, равно как и те писатели, о которых он писал и которых любил — «сопутствующие души», — займут каждый свое место в сознании нашего народа, а будущие поколения столь же темпераментно продолжат большой разговор о литературе, начатый их предшественником.



Гурам АСАТИАНИ

Предлагаем вниманию читателя три миниатюры — своеобразные портретные зарисовки грузинских писателей Реваза Инанишвили, Арчила Сулакаури, Мухрана Мачавариани, написанные Гурамом Асатиани в разные годы, когда каждому из этих писателей исполнилось пятьдесят лет.

РЕЗО ИНАНИШВИЛИ

Как трудно быть воистину достойным писателем! Какую чистую, незамутненную душу надо иметь, какой сильной должна быть она, чтобы сохранить дар, которым наделила тебя Судьба: на, сказала она, возьми и береги его как зеницу ока, я щедра к тебе, я обделила ради тебя другого, теперь от тебя зависит, как ты распорядишься им, как отблагодаришь милостивую Природу.

Сколько должен постичь достойный писатель, сколько бессонных ночей провести, чтобы напитать свое вдохновение, какой труд ему предстоит, каким терпением он должен обладать!

Какой это тяжелый крест — быть достойным человеком, и

какое счастье — чувствовать, что не сломался, не согнулся под тяжестью, не изменил цели и смыслу своего существования!

Как горько ощущать себя грузином, и какая это отрада, когда в тишине спящего города отчетливо слышишь, как течет в твоих жилах эта теплая и вечная кровь! Как прекрасен человек, сумевший сохранить ее незамутненной, человек, кровь которого не заледенела от страха, не застыла в жилах от безделья!

Все это я говорю о тебе, обращаясь к тебе, с мыслью о тебе!

Сейчас же пора прервать мои излияния, боюсь, они стали несколько монотонны, и попросту сказать тебе:

Мне запомнились два случая, связанные с тобой. Оба раза это было в Союзе писателей. Первый — лет семь назад. Тебя возмутила какая-то несправедливость, ты вскочил с места и с жаром попытался объяснить что-то присутствующим. От волнения речь получилась нескладной, ты стоял одинокий, безоружный в своем волнении.

В другой раз — в прошлом году, ты пришел на чествование абхазского писателя с заранее написанным текстом и, чтобы не сбиться, «письменно» объяснялся ему в любви. Ты сказал: сегодня я нашел еще одного человека, которому могу довериться...

Твое выступление было признанием в любви, патетической клятвой в побратимстве, и тебе было чуточку неловко столь откровенно говорить о своих чувствах.

Оба раза тебя заставляла говорить справедливость, и оба раза ты был взволнован и растерян. Ты не любишь терять душевное равновесие, не любишь суеты. Тебе сродни иное состояние, приходящее к человеку в миг, когда просыпается умытая дождем Природа; тогда рельефно проступает каждая черточка, каждый камушек; вот скатилась, сорвалась с листа последняя капля, сверкнула в воздухе и, расколов на миг тишину, звонко упала на землю и просочилась в Вечность.

Кто знает, может, забота и предназначение писателя состоят именно в том, чтобы в одном этом миге суметь отразить Вечность? Это близко тебе по духу. Ты сумел отразить вечную суть сегодняшних дней. Ты увековечил их прекрасное своеобразие...

Мы всегда с почтением взирали на тебя, как на жреца или прорицателя, хотя ты всего лишь на несколько лет старше нас. Наверное, виной тому твое величественное, неподражаемое, мудрое простодушие. Некоторые и впрямь думают, что ты наивен.

И не помнят уже, что грузинской литературе извечно сопутствовала великая мудрость и бескорыстная, рыцарственная «ламанская» мораль.

Ты бродишь по городу, слегка сутулый, загорелый, кому-то улыбаешься, и чертики бегают в твоих глазах. Ты приносишь с собой прохладное дыхание трав, прозрачность родниковой воды, глухую тишину заброшенной церкви.

Подходит твоя вечерняя пора. Знаю, немало дум припасено тобой для этой поры, немало снадобий для врачевания ближних. Сегодня же, пройдя половину своего пути, ты смотришь на друзей так, будто легок и безоблачен он, будто не тяжок твой крест, будто не тяжелая ноша лежит у тебя на плечах, а застенчивые полевые цветы.

Твой ковчег стоит на высокой горе, и никакой волне не достать его.

В нашу литературу пришло новое поколение, как всегда не понятное и странное для предшественников. Твое слово нашло отзвук в их сердцах, и дай бог, чтобы наливались соком зерна, брошенные в пашню сеятелями, подобными тебе, дабы всегда побеждало человеческое, доброе.

От лица всех твоих благодарных читателей, от лица братьев по перу, благодарных судьбе за общение с тобой, поздравляю тебя с золотым юбилеем и желаю больших побед в твоих добрых делах!

АРЧИЛ СУЛАКАУРИ

Прошло почти четверть века с тех пор, как я впервые увидел Арчила Сулакаури. Он шел по проспекту Руставели вместе с Георгием Леонидзе.

Стоял жаркий летний день. Тбилисские улицы были пронизаны солнцем. Несмотря на это на обоих были широкополые шляпы (бывшие в те годы в большой моде), на тушинский манер сдвинутые на затылок. Оба были в прекрасном расположении духа и, что меня особенно удивило, вели себя, как давние знакомые, не смущающиеся разницей в возрасте.

Рука известного поэта не покоилась на плече молодого друга, и все же, вспоминая эту картину, я шепчу про себя знаменитые строки Леонидзе о том, как этим символическим жестом много лет назад «благословил» его Важа Пшавела.

Георгий Леонидзе и Симон Чиковани сразу же угадали талант Арчила Сулакаури, поверили и доверились ему.

Я познакомился с творчеством Сулакаури-поэта, прочитав его первую поэму, в которой был любопытный образ — солнце в отчаянье ломало себе пальцы.

Теперь в грузинской литературе часто можно встретить подобные метафоры. Для той же поры это было настоящим открытием.

Основное качество поэзии Арчила Сулакаури — самобытность мышления и лексики. И в то же время — удивительное родство с традицией. В его творчестве слились две, на первый взгляд, несопоставимые стихии грузинской поэзии двадцатого века — полная жизни лирика Леонидзе и острое, как лезвие, слово Чиковани. И с обоими этими поэтами роднит Сулакаури близость к Важа Пшавела. Лично мне наиболее совершенным из его произведений кажется именно цикл стихов, созданных по мотивам Важа Пшавела...

Сулакаури-прозаик — обладатель редкой судьбы, если под судьбой понимать тонкий вкус и то, что обычно писатель подобного рода сам творит свою судьбу. Со времени появления своего первого рассказа он по праву занял место на переднем крае современной литературной жизни. Более того, он всегда на несколько шагов опережает ход развития нашей литературы.

Его повесть «Волны стремятся к берегу», необычная, почти уникальная для своего времени по масштабам художественного абстрагирования, и впрямь явилась провозвестницей нового течения в грузинской прозе.

В «Золотой рыбке» Сулакаури опередил многих товарищей по перу в изобличении тех неприглядных сторон действительности, которые сегодня стали объектом всеобщего порицания.

И вот повесть «Лука» — одно из самых примечательных в изображении нравственного максимализма произведений современной грузинской литературы. В повести больше «плоти», теплого дыхания жизни, оставленных без внимания в «Волнах»... Но по своей художественной структуре и эта повесть, представляющая собой обобщение богатого нравственного опыта, глубоко символична.

Пятьдесят лет — знаменательный рубеж для художника. Арчил Сулакаури и здесь на несколько шагов опережает свое поколение.

Его биография, его писательское «поведение», вся его ли-

тературная жизнь являются примером для последующих поколений.

Когда видишь перед собой столь решительного, уверенно го, твердо шагающего человека, яснее чувствуешь, какой сложный и ответственный путь избран тобой и какая нужна сила воли, чтобы, подобно идущему впереди, ни на миг не забывать, для чего вступил ты на этот тяжелый путь.

Мы не отмечаем Арчилу Сулакаури юбилея, мы просто хотим сказать нашему другу теплые слова, которые давно носим в сердце для того, чтобы однажды произнести их во весь голос.

МУХРАН МАЧАВАРИАНИ

Говорят, одна ласточка весны не приносит. Истинный поэт — именно та самая ласточка, которая вопреки поговорке приносит весну.

С появлением Мухрана Мачавариани в грузинской поэзии наступила весна. В послевоенные годы в его адрес часто проносилось слово «новатор». Я сам принадлежу к одному из первых «мухранологов». А впервые я услышал его имя в 1954 году от Мурмана Лебанидзе и в вагоне поезда «Москва—Тбилиси» залпом прочитал его поэмы «Саба» и «Охота царя Вахтанга».

Сегодня слух грузинского читателя уже свыкся с его стихом. Тогда же каждое слово звучало непривычно. И в особенности интонация. Станным «новатором» оказался Мухран Мачавариани!

С первого взгляда казалось, он разрушает все традиции, но стоило внимательно вчитаться в его стихи, как становилось понятно, он ни на миг не отрывал пристального взгляда от прошлого, от традиции, от «извечно грузинского».

Помню первую встречу с ним, наши неспешные прогулки по спуску Элбакидзе и еще более неспешные беседы — долгие, подчас до утренней зари. (И наша «Заря»¹ тогда только набирала силу).

Как и большинство поэтов, Мачавариани — неисправимый эгоцентрик. Некоторых это раздражает, но разве может

¹ Игра слов — название молодежного литературно-художественного журнала «Цискари» по-русски означает «Заря».

поэт быть невнимательным к самому себе? Как же ему расслышать звуки, рождающиеся в глубине его души?

Но эгоцентризм не мешает Мухрану Мачавариани все сущее любить глубокой и доброй любовью. Он и в жизни почти такой же, как в поэзии. Удивительно мягкий, с детской улыбкой на отмеченном благородством лице.

Доброта Мухрана Мачавариани не столь уж безобидна, как нам казалось раньше. Он умеет стойко отстаивать то, во что верит.

Молодежь многому может у него научиться. Но ему нельзя слепо подражать. Его теоретические рассуждения не годятся для курса нормативной поэтики. И вообще теория — не его стихия. Те, кто хочет следовать за Мачавариани, должны в первую очередь оставаться так же верны своему таланту, как и он, и помнить — в поэзии необходимо пристальное внимание к тому, что еще не появилось на свет, не обрело словесного воплощения, к тому, что затаилось в ожидании именно твоего прихода.

Это требует большой смелости и большого мужества.

Мухран Мачавариани — сильный поэт. Сила эта особого рода. Это та сила, которая помогает человеку, на полном ходу спрыгнувшему с поезда, устоять на ногах, — сила, которая сильнее инерции.

Поезд грузинской поэзии «несся» по своему пути, пока в начале 50-х годов молодой Мухран Мачавариани не совершил прыжок с его подножки.

Мачавариани — сильный, непоколебимый характер. Сильная личность или побеждает, или проигрывает, но никогда не сдается. И победа, и поражение отмечены печатью его индивидуальности.

У Мачавариани сильный голос. Многие пытались повторять его слова. Но только ему удастся произнести их громко, внятно и доступно. Примечательно, что он не старался повышать голос. Мачавариани громогласен от природы.

Пятьдесят лет — это не юбилейный возраст. Акакий Церетели написал свои лучшие стихи, перешагнув через этот рубеж. И юбилей ему отметили гораздо позднее.

Каждое новое произведение Мухрана Мачавариани ждут в Грузии с нетерпением и вдумчиво, внимательно относятся к острому и вескому слову поэта.

Роин МЕТРЕВЕЛИ

ДАВИД СТРОИТЕЛЬ

Семь десятилетий назад грузинские общественные деятели во главе с выдающимся ученым Иванэ Джавахишвили отнюдь не случайно приурочили открытие первой грузинской твердыни высшего образования — университета — именно к 26 января (8 февраля по новому стилю). Это — день памяти Давида IV Строителя, причисленного к лику святых, государя всея Грузии, «Меча Мессии». Ныне и Давид Строитель, и Тбилисский университет являются юбилеями. Университету исполнилось семьдесят лет. А в будущем году мы будем отмечать девятисотлетие царствования Давида Строителя.

Основным результатом деятельности Давида Строителя явилось укрепление державы и царской власти. Именно в первой четверти XII столетия феодальная Грузия достигла высокого уровня политического, экономического и культурного развития. Экономическая мощь страны нашла отражение в росте производительных сил и общественном разделении труда. Расцвет ремесел и торговли обусловили рост городов, которые, в свою очередь, приобрели важный социальный и экономический статус. Вот почему крупные феодалы стремились не столько окончательно прибрать к рукам своих мелких вассалов, сколько, главным образом, к установлению своего влияния в городах и господства над торговцами и ремесленниками.

Сегодня уже не приходится оспаривать известное марксистское положение о роли личности в истории. Глубокий отпечаток на свои эпохи наложили Александр Македонский и Гай Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт и Петр Первый.

Не случайно классики марксизма неоднократно обращаются к примерам знаменитых в истории личностей. Давая оценку роли Петра Первого в истории России, Ф. Энгельс назвал его «поистине великим человеком». Что же касается разносторонней и необычайно интересной деятельности Давида IV Строителя, то именно с нею неразрывно связаны как процветание Грузинского государства, так и значительное расширение его территории от Никопсии до Дербента и от Осетии до Арагаца. Наряду с политической и экономической мощью страны, оно было достигнуто благодаря самоотверженной борьбе грузинского народа с внешними врагами и различным преобразованиям (экономическим, военным, судебным, церковным и другим), принятым государственной властью, царем Давидом IV Строителем, что имело огромное историческое значение. Грузия продвинулась далеко вперед и превратилась в сильнейшую державу Ближнего Востока.

Положительно оценивая значение деятельности Давида Строителя для феодальной Грузии, мы не должны забывать о том, что его политика носила классовый характер. Он был правителем-феодалом, и все, что делал, служило укреплению феодализма. Реформы и преобразования проводились в жизнь ценой величайших жертв трудового народа. Войны и широкая созидательная деятельность тяжким бременем ложились на низшие социальные слои общества. Тем не менее, классовая окраска преобразований, повлекших за собой развитие и повышение страны, отнюдь не умаляет их прогрессивного общенационального значения.

В истории известно немало государей, получивших различные прозвища: «Великий», «Грозный», «Малый», «Короткий», «Блистательный», «Темный», «Львиное Сердце» и других. Эти прозвища-эпитеты дают ясное представление о самих правителях, деятельности их придворных, а также об отношении к ним народа, потомков. Подобные «характеристики» давались и грузинским царям и владетельным князьям, среди которых были «Великий» и «Чурбан», «Проворный» и «Малый», «Самопожертвователь» и «Блистательный», «Злобный» и т. д. Прозвища эти в общем соответствуют заслугам и человеческим качествам их носителей и даже, если вдуматься, их роли в развитии или упадке страны. Дошедшие до нас сквозь толщу веков, эти прозвища представляют собой первостепенный источник для характеристики того или иного деятеля, дают дополнительную возможность разобраться в его эпохе.

Эпитет «Строитель» в истории Грузии достался лишь од-

ному царю — Давиду IV. Почему? Вот как это объясняет Вахушти Багратиони в «Описании царства Грузинского»: «А царя Давида Строителем называли потому, что, когда начал он царствовать, страна была в полном разорении, он же отстроил ее и наполнил богатством великим, ибо почитал Господа и соблюдал заповеди его, и был милостив к бедным, вдовым и сирым, и врачевал недуги, и строил храмы и приюты для болящих...» Объяснение это довольно полное и емкое. В одной фразе описано тяжелое положение страны, оценен вклад Давида IV в дело восстановления государства и показана его созидательная деятельность.

Итак, в 80-е годы XI века в экономически отсталой и политически ослабленной Грузии появляется деятель, которому удалось объединить разобщенное население страны, разгромить иноземных захватчиков и вывести государство на путь прогресса. Для этого потребовались великие преобразования и крупное строительство. В первой четверти XII века экономика и культура обретшей политическую мощь Грузии переживали истинное возрождение, и совершенно естественно, что непосредственного вдохновителя и инициатора этого процесса современники и потомки нарекли Строителем, а грузинская православная церковь причислила к лику святых, установив днем его памяти 26 января.

Во второй половине XI века политическое и экономическое положение Грузии крайне осложнилось. Начало восьмидесятых годов отмечено новыми вторжениями бесчисленных полчищ турок-сельджуков. Историк Давида Строителя называет эти вторжения «великой туретчиной» и датирует 1080 годом. Как саранча, налетели они на Грузию: в один день сожгли Кутаиси, Артануджскую и Кларджетскую пустыни. Оставаясь здесь до первого снега, разорив и разграбив страну, сельджуки ушли. Так и повелось: летом они приходили, громили ее, а с приближением зимы покидали.

Над грузинским народом нависла серьезная опасность — набеги турок существенно отличались от византийского и арабского владычества. Турецкое кочевое хозяйство подрывало основы грузинского феодального хозяйства, что создавало угрозу полного вырождения страны. Как передает в «Картлис цховреба» летописец Давида IV, никто в ту пору не сеял и не жал; обездодела страна, покрылась сплошным лесом, и в домах вместо людей поселились дикие звери... Не было пощады старикам, надругались над девушками, оскотляли юношей, похи-

щали младенцев. Вместо ручьев реки кровавые орошали землю...

Грузия XI века была достаточно сильна, чтобы дать отпор туркам-сельджукам, однако собрать ополчение не удалось. Насстроенные враждебно по отношению к царю знатные феодалы не только не желали объединяться против общего врага, но, напротив, порой и сами помогали захватчикам.

В условиях тяжкого внешнего и внутреннего положения, острого государственного кризиса при грузинском дворе произошел переворот, в результате которого еще нестарый Георгий II лишился престола; его место занял сын — будущий Давид Строитель. «Повеял благодатный ветерок, — говорит летописец, — воссияло солнце над мраком».

Тяжелое наследие досталось шестнадцатилетнему царю Давиду: разграбленное и опустошенное сельджуками отечество, голодающий народ, укрывшийся в горах, обезлюдившие крепости, города и села. Для того, чтобы вновь обрести силы, требовались решительные меры.

Грузинское царство пребывало в таком упадке, что царская власть распространялась только за Западную Грузию, о чем свидетельствует и летописец.

В первую очередь следовало все отстроить, собрать разбежавшихся подданных, а затем изгнать турок-сельджуков. Давид Строитель собрал вокруг себя верных людей, чтобы с их помощью успешно заняться государственными делами. Царский двор формировал отряды надежных воинов. С этими отрядами царь наносил врагам поражение за поражением, тем самым создавая условия для возвращения в долины укрывшихся в горах грузинских земледельцев. Постепенно Давиду Строителю удалось изгнать сельджуков из Картли. Эти победы пробуждали в народе веру в собственные силы, а также в неизбежность окончательного разгрома врага. Понемногу страна возвращалась к интенсивному ведению сельского хозяйства. Началось возрождение городов. Давид Строитель заставил покориться знатных противников (Багваши, Абулетисдзе), а в 1099 году прекратил выплату дани султану сельджуков, в 1103 году ликвидировал Клдэкарское эриставство. Он стремился объединить разрозненных владетелей под эгидой центрального правления феодальной монархии. В 1104 году присоединил к единому царству Кахети и Эрети.

Сторонники сепаратизма и противники царя тайно или явно продолжали борьбу. Но когда они увидели, что Кахети и

Эрети стали составной частью единой страны, то со многими кахетинцами покинули пределы царства и попросили помощи у гандзийского атабага, ставленника турецкого султана. Войско султана, по словам историка Давида IV, было очень многочисленно («эта бесчисленная рать султана»). Здесь же находился и гандзийский атабаг со своими воинами, а также, как свидетельствует летописец, «многие кахетинцы и другие народы мира». Он же подчеркивает, что эти многие кахетинцы и «народы мира вместе с врагом подступили к нам». Как видим, против Грузинского царства двинулось войско султана, гандзийский атабаг со своим войском и часть владетелей Эрети и Кахети с многочисленными воинами. Это была огромная сила, и Грузии предстояло одолеть ее. На бой с врагом Давид Строитель вывел войско, которое было малочисленнее, чем у противника (возможно, собрать большие силы он за короткое время не успел), и, как сообщает царский историк, сражение с ним начал у Эрцухи. Грузинский царский двор противопоставил численному преимуществу вражеской стороны хорошо обученных и самоотверженных воинов-патриотов.

Создать полное представление о ходе Эрцухской битвы очень трудно из-за малого количества источников. Однако ясно — Давид Строитель «сотворил сраженье великое», то есть так расположил свою армию и настолько яростно набросился на врага, что летописец был поражен его быстрым успехом. Историка царя — очевидца битвы изумили подготовка грузинских воинов, их героизм и отвага. С завидной образностью и мастерством он пишет о напряженной битве, когда один грузинский воин не только одолевал, но и захватывал в плен множество врагов. В «Жизни царя царей Давида» описывается непосредственное его участие в Эрцухской битве. Он не походил на других военачальников, которые по традиции находились позади войска и оттуда отдавали распоряжения. Давид «прежде всего сам шел впереди и аки лев возглашал голосом вышним, и аки вихрь носился повсюду». Богатырем устремлялся он вперед и своей мощной десницей сокрушал противника. Стекавшая с его вознесенного меча кровь наполнила пазуху и боковые карманы; когда после окончания битвы царь снял с себя пояс, она так хлынула, что видевшие это испугались, не ранен ли он. В тот день под Давидом Строителем были убиты три коня, и «сидя на четвертом, завершил он день битвы». Завершил победоносно. Противник же вкусил горечь полного поражения. Турки-сельджуки бежали. Кахетинцам отступить было некуда, и им пришлось сдаться. Историк подчеркивает, что

Давид «...самодержавно завоевал Эрети и Кахети», овладев их крепостями и укреплениями.

Окончательное присоединение Эрети и Кахети к царству имело величайшее значение с точки зрения роста экономической и военной мощи. Отныне могучая единая Грузия могла широко, масштабно осуществлять действенные экономические и политические меры. И действительно, было предпринято много поистине грандиозных шагов, превративших Грузинское царство в одно из влиятельных и передовых государств тогдашней Передней Азии и Кавказа.

С именем Давида Строителя связан и созыв всегрузинского великого (Руис-Урбнисского) церковного собора, которому надлежало рассмотреть вопрос о назначении достойных на церковные должности, а также урегулировать целый ряд других дел в связи с нарушением порядка рукоположения в сан, разбазариванием церковного имущества, случаев венчания в младенчестве, торговлей в монастырях, что по христианским законам считалось недопустимым для «святых заведений». «Святая церковь, дом божий, превратился в вертеп для разбойников» — с горечью констатирует историк Давида Строителя. В уложении церковного собора не однажды отмечается, что церкви и монастыри стали местом сборищ, вертепов для разбойников под видом моления.

По свидетельству летописца, «для лечения великих язв собралось множество людей», среди которых, по его же словам, были католикос, епископы, пустынники, ученые. На соборе, согласно сведениям Вахушти Багратиони, находился и Давид Строитель, однако «не аки царь, но аки раб», то есть в качестве одного из рядовых его участников. Такое присутствие носило формальный характер, в действительности же он заставил принять политику царского двора.

Известно, что мировые церковные соборы созывали императоры Византии, причем в назначенное ими время и избранном ими же месте. Делая вид, что не вмешиваются в деятельность собора, фактически они всячески старались проводить свою политику. Так что в действиях Давида Строителя в этом отношении нет ничего необычного.

Согласно установленному на мировых церковных соборах порядку, и здесь председательствовал католикос. Активным участником, как это видно из источников, являлся высший сановник при царском дворе Георгий Инок, чья должность именовалась «мцигнобартухуцеси». В уложении Руис-Урбнисского

собора он отмечен как «око собора». Георгий всегда выступал единомышленником и соратником царя в его государственной и культурной деятельности.

Давид Строитель трезво оценивал трудности, препятствовавшие проведению собора. Было ясно: те, кто занимал должности, не уступят легко своего господствующего положения. Великий церковный собор затянулся на «многие дни» в силу принципиального характера поставленных на нем вопросов и сложности их решения. Как говорится в «Житии Грузии», «каждое заблуждение разъяснили, каждое доброе и богоугодное дело утвердили». Окончательно Давиду Строителю удалось подчинить церковь после объединения двух высших должностей при дворе в одну — «мцигнобартухуцес-чкондидели». Тот, кто занимал этот пост, стал «первым человеком» после царя.

С начала XII века в государственной политике Грузии важное значение приобрело окончательное укрепление страны. Давид присоединил к объединенному Грузинскому царству Самшвилдэ (1110), Рустави (1115), Гиши (1117) и Лоре (1118). И хотя враг был почти полностью изгнан с его территории, восток Закавказья (Ширван и Ран) и юг (Армения) все еще находились в руках турок-сельджуков, господствовавших в примыкавших к Грузии Кабала, Гандза, Аниси. Поэтому угроза нового вторжения оставалась. Безопасность Грузии требовала вынесения войны за пределы страны. Братские народы Кавказа, сами боровшиеся с нашествиями турок-сельджуков, всегда были готовы поддержать Грузию против общего врага. Их объединяло стремление изгнать сельджуков с родной земли, за чем последовало бы политическое объединение Закавказья.

Таким образом, царский двор Грузии, прибегнув к чрезвычайным мерам, решал огромную по важности и сложности историческую задачу. В первую очередь возникла необходимость военных реформ. Давид Строитель переселил с Северного Кавказа 40000 семей половцев, которые выставили 40000 воинов. К 1120 году он создал 60-тысячное регулярное войско. Кроме того, у него была личная пятитысячная гвардия («для охраны его самого», как зафиксировал летописец, «отборных и умелых... верных и закаленных в мужестве»). Одну часть армии составляли «войска царства», которые в отличие от постоянного войска «были выведены из-под власти государства и родчинены эристави» (Вахушти Багратиони). Эти «войска царства» собирали по мере надобности («в призывную пору»). Они пользовались авторитетом, симпатиями и неслучайно в со-

чинении историка Давида представлены как «отборные и снаряженные всадники на добрых конях, несгибаемые». В особых случаях использовалась еще и сформировавшаяся из чужеземцев наемная армия.

Благодаря принятым царским двором мерам по усилению Грузинского государства авторитет Давида Строителя неизмеримо возрос. Он подчинил себе все стороны жизни страны, и, осуществив полную концентрацию власти, стал самодержцем.

В истории справедливых битв грузинского народа одна из самых значительных — Дидгорская битва. Сведения об этом событии и его оценка содержатся в трудах как грузинских, так и зарубежных историков.

После широкомасштабных энергичных мер царский двор избирает тактику активной борьбы против наступающего врага с целью окончательного его разгрома и объединения Грузинского государства. Столица Грузии Тбилиси еще не была присоединена. Естественно, сильно встревоженные мусульманские владыки ждали удобного момента для выступления против Грузии.

Организатором и инициатором объединенной мусульманской военной коалиции был сельджукский правитель Ирана султан Махмуд, сын Мухамеда (1117—1131). Он обратился к мусульманам с призывом — «кто где бы ни был, начиная от Дамаска и кончая Алеппо, всем, кто в состоянии воевать», принять участие в войне. Согласно сообщению царского историка, «султан призвал царя Аравии Дурбеиза, сына Садака, и отдал ему сына своего Малика и все силы, и сделал спасаларом Элгаза, сына Ардухи... и повелел им вместе с атабагом гандзийским с его силами и с амиром всей Армении»...

По данным армянского историка Матеоса Урхаеци, численность коалиционного войска составляла 560000 человек. По сведениям канцлера Антиохийского княжества француза Готье, количество воинов коалиции достигало 600000. И. Джавахишвили считал, что в Дидгорской битве вражеское войско должно было состоять из 300000 воинов.

Сколько же их вывел на поле брани Давид Строитель? Судя по тому, что пишет Готье, 80000. Эти данные представляются преувеличенными. Более достоверны достаточно детальные сведения на этот счет Матеоса Урхаеци: Давид Строитель вывел на Дидгорскую битву 55600 человек, из них 40000 грузин, 15000 половцев, 500 аланов и 100 европейских рыцарей.

Подавляющую часть (две трети) составляли грузины. И не случайно, что они были в решающий момент основной силой грузинского войска.

Генеральное сражение между коалиционной армией турок-сельджуков и войском Давида Строителя произошло у Дидгори, где он и расположил свои силы. Как свидетельствует Готье, перед началом битвы царь обратился к своему войску с пламенным призывом: «...Воинство Христово! Если защищая веру божью, мы будем драться самоотверженно, то легко одолеем не только бесчисленных слугителей дьявола, но и самих чертей. И я посоветую вам одно, что будет во благо чести нашей и на нашу пользу. И все мы, воздев руки к небу, дадим всемогущему Богу клятву, что, во имя любви к нему, на поле битвы мы погибнем, но не побежим. ...И когда враг приблизится к нам, чтобы драться, мы с твердым сердцем будем беспощадно биться с ним».

Перед грузинскими воинами стояла задача — или победить, или погибнуть. Такое поведение в бою издревле было нормой для грузинских воинов, и историки более позднего времени тоже отмечают: «Нет у нас, грузин, обычая, увидя врага, идущего на нас, без боя поворачиваться к нему спиной, пусть хоть смерть».

12 августа 1121 года, четверг усупенского поста Богородицы. По сведениям историка Давида Строителя, благодаря стратегическим и тактическим новшествам, осуществленным командованием грузинского войска, и самоотверженному героизму воинов, Дидгорская битва продолжалась всего три часа. Враг потерпел жестокое поражение. Заслуга грузинского воинства и его командования состояла в том, что они не дали бегущей армии противника собрать и объединить свои силы, пресекли все возможности для контрнаступления, и это обусловило его полный разгром. Воины Грузии одержали над коалиционными мусульманскими армиями очень сложную и в то же время решающую, по существу блестящую победу.

Теперь ничто не мешало присоединению древней столицы Грузии Тбилиси к Грузинскому царству, что, наряду с покорением других городов, было фактически продолжением Дидгорской битвы. По словам летописца, «на другой год с первого же приступа взял царь город Тбилиси, четыреста лет находившийся во владении персов, и утвердил его навеки для детей своих как дом их и казнохранилище». В 1122 году Тбилиси снова стал тронным городом Грузии.

Давид Строитель освободил Ширван (1123) и Ани (1124). Его планомерная деятельность «принесла в страну дождь, возродила и обогатила каждого нищего и бесприютного». Историк рассказывает, что он «превратил султана в данника своего, а царя греков сделал близким своим, поразил язычников, истребил варваров, покориł себе царей, а государей в рабов превратил, обратил в бегство арабов, сделал своей добычей исмаилян, в прах развеял персов, а их правителей превратил в крестьян».

Проведенные царем многосторонние мероприятия обусловили экономическое укрепление страны. В первой четверти XII века сельское хозяйство, ремесла, торговля достигли в Грузии высокого уровня развития.

В период царствования Давида Строителя успехи единой и экономически крепкой Грузии проявились также в ее культуре и просвещении. Произошло слияние христианской (византийской) и мусульманской культур (К. Кекелидзе). Развилась национальная литература, очевидным стал резкий подъем в живописи, водчестве, златоуварии.

Одной из самых серьезных забот Давида было просвещение. Он отобрал сорок способных детей и послал их в Грецию для приобретения знаний. Дело воспитания и обучения продвинулось вперед и в самой Грузии. В церковных и монастырских школах изучали грузинскую литературу, теологию, гимнографию, литургику.

В те времена в Грузии была не одна высшая школа и академия. В 1106 году Давид «задумал построить монастырь» и «на месте самом прекрасном, без единого порока» возвел храм, который «превосходил все прежние творения». Это были Гелатский монастырь и академия, ставшие важным очагом грузинского просвещения и культуры. Летописец называет ее «вторым Иерусалимом всего Востока, средоточием обучения всему добродетельному, наставником всех ученых, вторыми Афинами».

Гелати стал высокого уровня культурно-просветительным и учебным центром национально-философского и духовного просвещения. Давид Строитель проявлял особую требовательность к подбору ученых, подходя с самыми высокими критериями к их таланту и человеческим достоинствам. Он разыскал и «собрал людей порядочных в жизни и увенчанных всяческими добродетелями, пригласил сюда Арсена Икалтоели и Иоанэ Петрици. Деятельность этих и других знаменитых ученых значительно возвысила авторитет Гелатской академии. Подобно ис-

торику Давида Строителя (который сравнивает Гелати с Иерусалимом и Афинами), знаменитый грузинский деятель поэт Иоанэ Шавтели дает очень высокую оценку Гелати, сравнивая его с Римом и Элладой.

Были в Грузии XII века и другие культурно-просветительские и научные центры. В Икалто находилось высшее учебное заведение — Икалтойская академия, основателем и первым наставником которой являлся Арсен Икалтоэли. Из других центров высшего образования в предании остался Греми.

Большое внимание уделял Давид Строитель развитию культурных центров и за пределами страны. Глубоко и многосторонне образованный царь Грузии далеко простер руку помощи: «...И наполнились море и суша благими деяниями его. И наполнил добром лавры, соборы и монастыри не только в царстве своем, но и в Греции, на Святой горе и Болгарии, а потом в Ассирии и на Кипре, на Черной горе, в Палестине... построил монастырь на горе Синай, и отдал много тысяч золотых монет».

Возникновение за границей грузинских культурно-просветительских центров — наглядное свидетельство влияния и авторитета Давида Строителя на международной арене.

Личность Давида Строителя привлекала к себе немало писателей, историков (примечательно, что историк Мосэ Джанашвили создал поэму о нем). Но эта важная историческая тема была сполна реализована только в наше время: замечательный грузинский писатель Константинэ Гамсахурдиа создал серьезный и объемный (в четырех книгах) роман, в котором с позиций современной исторической науки показал внутриклассовую борьбу в конце XI и в первой четверти XII веков, отобразил деятельность Давида Строителя по централизации феодального государства, титаническую борьбу за освобождение Грузии от турецко-сельджукского господства.

Грузинские поэты посвятили своему великому предку немало стихотворений.

26 января 1888 года, в день памяти Давида Строителя, Илья Чавчавадзе опубликовал статью, в которой есть такие строки: «...к величайшим деятелям нации можно отнести лишь тех, кто выражает и осуществляет сокровенные чаяния и утоляет жажду нации». И далее: «Этот... царь собрал воедино всех грузин. Разоренную страну он возродил, врагов разгромил и развеял, и то, что сегодня мы живем на нашей земле, — это и есть его вклад в историю...»

Мы ценим Давида Строителя не только за столь знаменательно царствование, но и за его нравственное мужество. Самоотверженный заступник своей нации и православной веры, глубоко уважал другие народы и вероисповедания. Став всемогущим повелителем людей разных племен и разных вероисповеданий, в разгар национальной и религиозной розни, он являл собой образец человеколюбия, уважения к другим национальностям и другой вере, что совершенно поразительно для человека двенадцатого века!

На примере Давида Строителя Илья Чавчавадзе призывал людей к обязательному серьезному изучению и анализу истории: «Падение и вырождение нации начинается тогда, когда нация к своему несчастью забывает свою историю: как не поминается человеком бобыль, бродяга, который не помнит, кто он есть, откуда и куда идет, точно так же не заслуживает называться нацией та, на которую прогневался бог и которая не помнит свою историю». (Вспомним слова А. С. Пушкина: «Уважение к минувшему, вот черта отличающихся образованностью от дикости»).

Сын своей эпохи, Давид Строитель как выразитель интересов феодального класса осуществлял преобразования и внедрение нового ценою больших жертв. Но все сделанное им оказало огромное влияние не только на историческую судьбу Грузии, но и на дальнейшее развитие народов Кавказа и Ближнего Востока. Его эпоха вошла в историю Грузии и других народов Кавказа как период большого перелома, политического, экономического и культурного подъема.

Давид IV Строитель, «Меч Мессии» скончался 24 января 1125 года в возрасте 53 лет. Тридцать шесть из них был он царем абхазов, грузин, ранов, кахов и армян. Погребен Давид Строитель в царской усыпальнице Гелатского монастыря. На надгробной каменной плите высечены слова псалма: «Это покой мой вовеки веков, так пожелал я: здесь поселиться».

Там же сохранилась и эпитафия, посвященная царю Арсеном Икалтоэли.

Восемь с половиной веков отделяют нас от эпохи Давида Строителя — эпохи героической борьбы и труда грузинского народа. Сегодня, когда по-особому высвечиваются этапные, значительные вехи и факты прошлого, яркая личность Давида IV занимает одно из самых почетных мест в грузинской истории, поскольку он деятельно служил прогрессу своей страны.



Михаил БУЯНОВ

ПО СЛЕДАМ ДЮМА

— Когда Дюма приезжал на Кавказ...

— Как, он и на Кавказе был? Не может быть!..

(Из разговора)

Забытая книга

А ВТОР «Трех мушкетеров» был завзятым путешественником. Он объездил большинство европейских стран и после каждой поездки выпускал два-три тома художественных отчетов о виденном и слышанном. Его книги динамичны, полны приключений и увлекательных историй.

Уму непостижимо, как этот человек мог так много ездить и так много работать.

Недоброжелатели Дюма, да и просто скептики, не верившие в возможность такой творческой продуктивности, распространяли слухи относительно того, что, дескать, он фантазер и сочинитель, ни одному слову которого верить нельзя, что часто пишет о событиях, о которых знает лишь понаслышке, так как вообще не был в местах, так красочно им живописуемых.

Эти слухи укоренились среди читателей и стали чуть ли не аксиомой. Стоит заговорить о Дюма, как тут же услышишь: «Так ведь он все выдумывает...».

Много лет назад я задался целью проанализировать какую-либо из книг Дюма, чтобы выяснить в конце концов, кто же

прав. Но на какой из сотен, вышедших из-под его пера, оставаться? Наверное, проще разобраться в той, что посвящена России: тут и архивы под боком, и фундаментальные исследования отечественных историков, географов, литературоведов. Да и легче проехать по тем местам, где побывал писатель, увидеть все своими глазами, сравнить с тем, что сообщал он.

О своем путешествии по Российской империи Александр Дюма написал и выпустил шесть томов. Три из них объединены под названием «Из Парижа в Астрахань», остальные озаглавлены — «Кавказ».

Первый том в нашей стране никогда не издавался, второй вышел на русском языке в 1861 году в Тифлисе в сильно сокращенном виде. В 1964 и 1970 годах в еще более урезанном варианте его напечатали в Тбилиси на грузинском языке. В 1985 году отрывки из «Кавказа» опубликовали в Баку на азербайджанском. Ни на одном другом языке в нашей стране он не издавался. Да и на родине Дюма и во всей Западной Европе его книги вообще, а тем более заметки о путешествии в Россию, печатаются ныне крайне редко. Можно даже утверждать, что многие читатели и не подозревают об их существовании.

Более того, даже публикаторы книг Дюма о России обходят «Кавказ» стороной. Путевые впечатления «Из Парижа в Астрахань» хотя и редко, но издаются, по ним судят обо всем написанном Дюма о России, а самая яркая, полная, объективная, интересная часть путевых заметок, какой и является «Кавказ», остается на периферии читательских представлений и литературоведческих изысканий.

Поэтому для данного литературоведческого исследования он и взят как наименее известная из всех книг Дюма, к тому же поддающаяся — при известной усидчивости и добросовестности — проверке, то есть возможности доказать или опровергнуть то, что в ней сообщалось.

Большинство современных читателей знают жизнь Дюма по прекрасной книге А. Моруа «Три Дюма» (1957, русский перевод — 1962), многократно издававшейся в СССР. В этой фундаментальной биографии поездки Дюма в Россию описывается эскизно и заканчивается пребыванием в астраханских степях, путешествие же по Кавказу упоминается лишь один раз и вот каким образом. Когда Дюма скончался, его сын отправил Жорж Санд длинное письмо, в конце которого есть такая фраза: «Во время Ваших ночных бдений дайте себе труд прочесть то, чего Вы, вероятно, никогда еще не читали: «Путешествие по России и Кавказу». Это чудесно! Вы сделаете три

тысячи лье по стране и по ее истории, не переводя дыхания и не утомляясь...»

Этим и исчерпывается информация о поездке писателя на Кавказ в самой полной из его биографий.

Факторов, способствующих принижению творчества Дюма вообще и игнорированию «Кавказа» в частности, много. Некоторые из них не исчезли, к сожалению, и до настоящего времени. Педантов смущает, что Дюма, если так можно выразиться, чемпион среди писателей по количеству написанного за столь непродолжительную жизнь (1802—1870). И хотя среди литераторов бывали личности с не меньшей творческой продуктивностью (взять хотя бы Пьера Алексиса Понсон дю Террайля (1829—1871), за свою недолгую жизнь выпустившего 250 томов, созданных без секретарей и помощников), до наших дней остался в полном объеме своей несравненной популярностью лишь Александр Дюма.

Не в силах признать реальность сверхчеловеческой продуктивности писателя, его гениального ясновидения, повсеместного и неизменного читательского успеха, многие литературоведы и по сей день соглашаются с порочащими его измышлениями. Вот главные из них: во-первых, в его произведениях, мол, все сплошные выдумки и правды ни на грош, а во-вторых, он, якобы, был бессовестным плагиатором, эксплуататором, за него работали другие люди, сам же он лишь присваивал плоды их трудов. На примере «Кавказа» читатель сможет убедиться, как нелепы эти выдумки: ведь никого из секретарей, считавших себя его соавторами, с ним в России не было. В этой книге нет ни фантазий, ни грубых неточностей. Скрупулезности, научной педантичности ее автора могли бы позавидовать самые дотошные ученые. В том числе и те, которые, приписывая ему всевозможные грехи, одержимы нежеланием признать феномен Дюма.

Итак, действительно ли «Кавказ» — это отчет о поездке, которую писатель никогда не совершал, и действительно ли в ней много величайших курьезов? Как родился «Кавказ», какие социально-психологические и художественные факторы повлияли на его создание? Чем интересна эта книга нам, живущим спустя много десятилетий после ее выхода?

Эти и многие иные вопросы неминуемо встают перед любознательным читателем.

Как ко всякому уникальному явлению, к Дюма нельзя относиться однозначно. Его творчество всегда вызывало и вызывает споры — порой ожесточенные. Ведь бесспорны лишь те

истины, которые никого не затрагивают и не разрушают сложившихся стереотипов. И выраженное здесь отношение к нему вообще и к «Кавказу» в частности может показаться дискуссионным, чрезмерно или недостаточно восторженным, необъективным, односторонним. Я и не скрываю, что люблю Дюма, что воспринимаю его книги как энциклопедию человеческого братства, как призыв к соединению и примирению людей, как гимн дружбе, честности и благородству. Он представляется мне одной из вершин мировой литературы. Быть может, поэтому я или не вижу в нем раздражающих недостатков, или не хочу говорить о них. Пусть об этом рассуждают те, кто равнодушен к нему.

К «Кавказу» тоже можно относиться по-разному.

Одни, возможно, расценят книгу лишь как прекрасное сочинение, достойное автора «Трех мушкетеров». Другие увидят в ней образец художественного описания путешествий. Третьи воспримут в первую очередь как замечательный документ эпохи, сохранивший для последующих поколений комплекс обширных сведений о Кавказе 1858-59 годов. Четвертые могут подумать, что это в основном талантливая этнографическая и историческая работа, позволяющая судить о ней как об определенном этапе в изучении иностранцами громадного кавказского региона. Пятые... Могут быть и пятые, и шестые, и седьмые... Вероятно, каждый из них будет по-своему прав. Ведь книга Дюма, как и всякое неординарное творение, имеющее много пластов и измерений, будет вызывать в разных читателях разные чувства, и каждый будет черпать из нее то, что ему необходимо. Да и сам пишущий эти строки в разные годы своей читательской эволюции неодинаково относился к «Кавказу». Однако постепенно я пришел к выводу, что книга Дюма — вдохновенное порождение неистощимого таланта великого художника. Она полностью вписывается в ряд самых известных его творений, продолжает их и, я бы даже сказал, венчает.

Это не только собственная версия Дюма о Кавказе — его истории, природе, людях, версия, отражающая личность ее создателя, но и важнейший исторический источник, в котором вводятся в научный оборот многие новые документы. В частности, трудно встретить такую лермонтоведческую работу, в которой бы не упоминался «Кавказ»; а в книге Дюма приводится письмо Е. П. Ростопчиной и стихотворение М. Ю. Лермонтова «Раненый», до того нигде не печатавшееся и являющееся одной из литературоведческих тайн. В «Кавказе» дается оценка М. Ю. Лермонтову, А. А. Бестужеву-Марлинскому и другим литера-

торам. Знать мнение о них Дюма чрезвычайно любопытно. Оценка большим художником творчества своих собратьев по перу всегда честная, строгая и интеллигентная.

За время пребывания в России Дюма не только наблюдал жизнь страны, но и активно занимался литературным трудом. Помимо создания книг о России, он здесь много переводил. Ода Пушкина «Вольность», «Герой нашего времени» и множество стихотворений Лермонтова, «Ледяной дом» Лажечникова, повести Марлинского — это и многое иное было переведено менее, чем за восемь месяцев жизни в России. В этой работе ему помогали Дмитрий Васильевич Григорович и другие русские писатели, свободно владевшие французским языком. По возвращении в Париж он издал эти переводы. Часть из них вошла в выпущенную им антологию русской литературы начала XIX столетия.

Без сомнения, Дюма был одним из тех деятелей французской культуры, которые внесли большой вклад в ознакомление западноевропейских читателей с русской литературой, и это нельзя забывать, как нельзя не восхищаться и стабильностью творческой продуктивности писателя: ведь работать в гостях, да еще в разъездах, и работать дома, в привычной обстановке, конечно, не одно и то же.

С 16 апреля по 15 мая 1859 года в Париже ежедневно отдельными выпусками печатались путевые заметки Дюма о поездке на Кавказ...

Перед поездкой

В 1858 году Дюма было 56 лет. В 1844 году вышли «Три мушкетера», в следующем — «20 лет спустя», в 1845-46 — «Граф Монте-Кристо», в 1848-50 — «Виконт де Бражелон», то есть все самые выдающиеся романы, навеки обесмертившие его имя. В 1825-54 годах напечатаны «Мои воспоминания». Уж коли писатель принимается за мемуары, значит, вернее всего можно предположить начало творческого кризиса. Видимо, такой период и наступил у него. В этом контексте и следует воспринимать его скоропалительную поездку в Российскую империю.

Что заставило Дюма бросить насиженные места и устремиться на берега Невы и Волги, в прикаспийские степи и кавказские горы? В наши-то дни путешествовать нелегко, а как-то было 130 лет назад, когда не существовало самолетов, асфальта, грузовиков, холодильников и других благ сегодняшнего цивилизованного мира...

Всех художественных гениев носило, носит и, видно, всегда будет носить по свету — в том числе и Дюма. Ведь что такое путешествовать? Это постоянно преодолевать себя: неуют, холод, зной и т. д. Никаких особых условий у Дюма не было и в помине. Грязь, блохи, тараканы, дожди, бездорожье, угроза нападения, непривычная пища, чужой климат — все это сопровождало его странствия, но он не испугался, не повернул назад. В «Кавказе» нет жалоб, нет проклятий, нет яростных или ядовитых обвинений — есть редкие естественные проявления недовольства неустроенным бытом. Недоволен был бы на его месте любой, но нужно было быть Дюма, чтобы облекать свои краткие рассказы о бытовых неурядицах в спокойные или — чаще — юмористические тона, сообщать об этом так лаконично, так между прочим.

Да, в смелости и легкости на подъем ему не откажешь. Прежде он посещал и другие страны — правда, совсем близкие и уж, конечно, не пугающие своими размерами и чуждостью, как Россия. Ведь ехал сюда после Крымской войны, да и воспоминания о нашествии двенадцати языков еще не изгладились — поэтому никак нельзя было исключать враждебных или просто недружественных акций со стороны невежественных или слишком горячих людей.

Полная подчиненность творчеству, свойственная гениям, требует новых впечатлений, а они возможны главным образом во время поездок. «С какой бы радостью я сделался фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше». Вечный странник. Гоголь думал, что только ему одному свойственна эта мечта о дороге, эти вечные скитания, в которых важен процесс, а не результат. Такими же непоседами были Есенин, Хлебников, Маяковский и почти все большие таланты.

Однозначно объяснить побудительные мотивы таких странствий, конечно, трудно, в каждом конкретном случае они свои. Но для этих людей причина одна — наличие таланта, который всегда деспотичен и вынуждает его обладателя подчинить ему всю свою жизнь. Художественный же талант, требующий непрерывной смены впечатлений, поисков новых красок, характеров, судеб, ситуаций, тем более.

И в итоге каждого человека интересует, что же на самом деле творится вокруг него, одолевает желание на все посмотреть своими глазами, все самому пощупать своими руками.

В конце XVIII столетия появился новый литературный жанр научно-художественных описаний путешествий. Это, не пу-

тевые заметки, в которых автор тщательно регистрирует информацию, полученную на разных этапах своих странствий, а прежде всего описания характеров, внешности, отношений между людьми. Не перечисление увиденного и узнанного, а свое, субъективное отношение к тому, что более всего задело, стимулировало размышления, научило по-иному взглянуть на мир. Авторы лучших научно-художественных описаний как бы обращались к читателям с вопросом — почему вы не были вместе с нами? Почему не приоткрыли в себе какие-то новые струны, очутившись в далеких и опасных местах? Да, не обжигало вас тропическое солнце, не мерзли вы в горах, не слышали жестокое дыхание хищных зверей. Будь вы, читатели, с нами, узнали бы, что такое жизнь, лежащая за порогом вашего дома.

«Кавказ» относится именно к такому жанру.

Из Парижа в Петербург

Имя Дюма в России было хорошо известно задолго до его приезда сюда. Представители либеральных кругов видели в нем единомышленника, а Булгарин и иже с ним неизменно считали его возмутителем общественного спокойствия, личностью безнравственной и опасной. Правительственные круги рассматривали в качестве своего, если не отпетого врага, то уж несправедливого недруга наверняка.

Дюма знал, что Николай Первый к нему относится недоброжелательно, но, наделенный солнечным характером, не воспринимал это всерьез. Царь же, навязавший своей стране единообразию и тугоподвижность мышления, страсть к псевдозначительной солидности, старавшийся весь мир превратить в подобие николаевской монархии, не мог не воспринимать его с подозрительностью. Поэтому официальные возможности приезда в Россию были заказаны. И вдруг в 1858 году неожиданно представился благоприятный случай.

Д. В. Григорович так объясняет причины приезда Дюма в Россию: «Путешествуя со своей семьей за границей, граф Г. А. Кушелев-Безбородко встретился в Риме в 1858 году с популярным тогда спиритом Даниилом Юмом, «шотландским колдуном», как называет его Дюма. Быстрое сближение завершается помолвкой Д. Юма с сестрой графини Александриной Кроль. Свадьба откладывается до возвращения в Россию; а проездом в Париже, встретившись с А. Дюма, граф склоняет его к путешествию в Петербург в качестве гостя на предстоящей свадьбе».

24 июня 1858 года Ф. И. Тютчев сообщал своей жене: «Вот уже несколько дней как мы обладаем двумя знаменитостями: Юмом, вызывателем духов, и Александром Дюма-отцом. Оба приехали под покровительством графа Кушелева».

Сразу по приезде Дюма оказался на этой свадьбе. Шаферами были присланные Александром Вторым два царских флигель-адъютанта: граф А. Бобринский и граф А. К. Толстой. Дюма с ними познакомился, но беседы на литературные темы с Толстым не получилось и на этом общение прекратилось. На этой же свадьбе он встретился и подружился с Д. В. Григоровичем, который быстро превратился в «нянюшку Дюма», как называла его А. Я. Панаева.

Если бы не встреча с Григоровичем, мы бы мало знали о жизни Дюма в России.

Григорович познакомил француза со своими друзьями: Н. А. Некрасовым, И. И. Панаевым и А. Я. Панаевой.

И Григорович, и Панаев, и Некрасов в описываемый период были моложе Дюма на два десятилетия. Никто из них не обладал такой громкой славой, как великий француз. Григорович и Панаева отличались добрым и веселым нравом, так импонировавшим Дюма. Молодые люди старались оставить ему на память знаки своего дружеского расположения. Гость тоже не оставался в долгу. Он, в частности, подарил Григоровичу рисунок дачи Некрасова и Панаевой. Сердечной грустью сопровождалось расставание Григоровича и Панаевой с французским романистом, как и его с ними.

В конце августа 1858 года Григорович отправился в плаванье по Средиземному морю, а Дюма 22 июля выехал на поезде в Москву, имея целью поездку на Кавказ.

Кто же такой граф Кушелев-Безбородко, которому Россия обязана посещением Дюма?

Григорий Александрович Кушелев-Безбородко (1832—1870) был большим богачом, не знавшим удержу в своих сумасбродствах и не ведавшим куда девать деньги. В 1859-62 годах он издавал журнал «Русское слово», в котором активно печатались Я. П. Полонский, А. А. Фет и другие талантливые поэты, многие из которых тогда только начинали литературную деятельность. Молодой граф отличался невероятной безалаберностью, обилием самых неразборчивых знакомств. Дюма среди его чад и домочадцев был, пожалуй, самым значительным и известным человеком. В восьми верстах от Петербурга, в Полюстрово у графа была большая дача, где и жил Дюма, а также уйма людей, хозяину ее толком-то и незнакомых.

Кушелевская дача в Полюстрово представляла собой нечто среднее между постоянным двором, филиалом сумасшедшего дома и литературно-научного клуба. Кого здесь только не было! Кто только не стремился пожить за счет чудного графа! Кушелев-Безбородко являлся одним из тех русских аристократов, чьи странности и давали повод иностранцам поражаться бесшабашности таинственной русской души.

Впрочем, душа покровителя Дюма действительно необычна и раскрыть ее вряд ли кому удастся. Кушелев-Безбородко не был уж таким нелепым человеком, как это могло показаться на первый взгляд. Он писал недурные рассказы под псевдонимом Грицько Григоренко, редактировал первый в России «Шахматный листок», основал в Петербурге шахматный клуб. Передал Академии художеств много картин из своей уникальной коллекции. Иными словами, был невероятно талантлив, энергичен, радел о просвещении народа, его знали как друга и покровителя пишущей братии. Поэтому есть за что уважать этого человека, отчего дивиться его поступкам, которые в итоге всегда оказывались благородными. Честь ему и слава за все содеянное. В том числе и за приезд в Россию Дюма.

Кушелев-Безбородко был дружен с Достоевским. Многие ученые считают, что биография и нравственный облик этого человека подсказали автору романа «Идиот», созданного значительно позже, образ князя Мышкина.

Несколько лет назад я побывал в Полюстрово, в годы моей юности — дачном поселке, ныне вошедшем в черту города, побродил по его улочкам. Много десятилетий прошло с тех пор, как здесь бывал Дюма; пронеслись войны, революции. Почти ничего не сохранилось от Полюстрово той поры, кроме низкого серого неба да шума столетних деревьев. Все унесло безжалостное время. И о том, что когда-то тут жил автор «Трех мушкетеров», никто из встреченных мною местных жителей даже не подозревал.

Дюма, как сообщает Панаева, приехал сюда со своим секретарем — якобы невзрачным человечком, замученным буйной активностью патрона. Кого имела в виду Панаева? Нет документов, указывающих на то, что во время его пребывания в Петербурге рядом с ним находился кто-то иной, кроме Жана Пьера Муанэ (1819—1876), который вовсе не был таким уж безликим и бездарным субъектом, а тем более лакеем, как это пытается представить Панаева. Способный архитектор, довольно известный художник, отличный рисовальщик, он умел бы-

стро и точно передать сюжет и тональность. Вернувшись в Париж, Муанэ еще много лет создавал картины на российские сюжеты и жил за счет их продажи. В Москве переводчиком Дюма стал студент Московского университета по фамилии Калино, пребывавший при нем с сентября 1858 года по январь следующего. И о Муанэ, и о Калино подробно написано в «Кавказе».

В конце 1858 года, когда Дюма был уже на Кавказе, в редактируемом Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым «Современнике» появилась статья последнего «Петербургская жизнь. Заметки нового поэта», в которой приводится следующее высказывание напутствовавшего Дюма перед поездкой в Россию французского романиста Жюль Габриэля Жанэна (1804—1874), обратившегося к русским с просьбой как можно лучше встретить его: «У него (Дюма — М. Б.) такая светлая голова, такой находчивый ум, такое удивительное воображение. В этом человеке столько жизни, ...столько грации и изобретательности. Мы поручаем его гостеприимству России и искренне желаем, чтобы он удостоился лучшего приема, чем Бальзак... Тот явился в Россию не вовремя — тотчас после г-на Кюстина и потому, как это часто случается, невинный пострадал за виновного. Что же касается до невинности, то невиннее А. Дюма ничего быть не может...».

Но это Панаев отвечает: «Г-н Жюль Жанэн может быть совершенно покоен. Город Петербург принял г-на Дюма с полным русским радушием и гостеприимством..., да и как же могло быть иначе? Г-н Дюма пользуется в России почти такой же популярностью, как во Франции, как и во всем мире».

Далее автор статьи описывает жизнь Дюма в Петербурге и, между прочим, замечает: «К г-ну Дюма являются ежедневно какие-то неслыханные им соотечественницы, единственно для того, чтобы с чувством пожать руку такому знаменитому человеку. Он получает беспрестанно из отечества самые нелепые просьбы: один просит определить ему жену и его самого в петербургский французский театр на том основании, будто бы он (Дюма — М. Б.) вызван в Петербург для устройства наших театров; другой, вообразив, что г-н Дюма путешествует по России для каких-то важных целей и по поручению русского правительства, просит принять его секретарем; третий — отыскать ему богатую невесту в России и т. д..»

Счастливый г-н Дюма! Ему все... даже и петербургская суровая природа благоприятствует. В течение всего пребывания

его в Петербурге стоит теплая... мало этого — жаркая, ясная, чудная погода»...

А вот внешность Дюма, какой она видится Панаеву: «высокий, полный, дышащий силой, весельем и здоровьем... с поднятыми вверх густыми курчавыми волосами, с сильной уже проседью». Он замечает, что французский гость не питает особенного расположения к новоявленному императору Наполеону Третьему. Но особенно поразило Панаева, что даже будучи в гостях, Дюма старается не пропустить ни единой возможности поработать. «Трудно представить себе человека деятельнее и трудолюбивее его», — заключает он свои наблюдения, проникнутые чувством удивления и симпатии к нему.

Биография писателя ни в коем случае не сводится к анкетным данным, она прежде всего биография духа. В связи с этим пишущий эти строки хотел бы обратить внимание читателей на то, что все его книги проникнуты духом человеческой солидарности, милосердия и доброжелательности. Он никого не корит, не адресует бранных слов даже отрицательным персонажам. Эта особенность жизненной философии каким-то образом, видно, отражается и на многих людях, с которыми Дюма сводила судьба. Гуманизирующая, гармонизирующая межлюдские отношения роль его творчества и личности безусловна. Не случайно поэтому Григорович и Панаев — люди общительные, с чувством юмора, великодушно относящиеся к окружающим, — стали друзьями Дюма. Ведь отношение к человеку — своеобразный тест, помогающий понять его сущность.

В книгах Дюма не смакуются, да и вообще не демонстрируются мерзости реальной жизни, а если иногда и показываются, то только для того, чтобы со страстной неотступностью убедить читателя в том, что всякое зло скоро будет наказано, что добро не может не торжествовать, что люди должны стоять на страже своей чести. Невозможно даже представить, что писателю может придти в голову идея написать нечто в духе «Записок из подполья». Светлый, умиротворяющий, вселяющий бодрость, веру в человеческую порядочность талант его как бы говорит: допустим, я напишу роман, еще раз показывающий, что люди плохи по своей природе, что ими владеют жестокость, безжалостная борьба за власть и прочие животные инстинкты. О том, что жизнь на самом деле складывается из страданий и злобы, это люди и так каждодневно ощущают на своей шкуре. Ничему доброму это не научит: тут они, читатели, знают все лучше любого писателя. Поэтому я показываю им примеры благородства и иных достойных ка-

честь. Пусть идеализируют людей, пусть приписывают им то, что в них эпизодично. Но такой идеальной художественной моделью я научу читателей — если не всех, то хотя бы одного или двух из тысячи — быть более добрыми и честными. Разве это плохо? Ну, а как мне это удастся — дело моего таланта. Ведь в чем задача искусства и литературы? Только в одном: внести в реальную жизнь мечту о лучшей жизни, научить людей стремиться к высотам морали. Одни этого добиваются таким способом, как я. Другие — криком на всю вселенную, как плохи люди, показом их аморальности. Третьи — еще как-то. Что ж, у каждого свои методы. Хороши или плохи не сами по себе литературные приемы, важна способность художника — успешно или безуспешно — реализовать свои гуманистические принципы. Каждый делает, как умеет, неизменно руководствуясь кодексом писательской морали, записанным не в инструкциях, а в сердце литератора.

Творчество Дюма понятно миллионам простых людей, но что может быть таинственнее ясности и вроде бы обыденности?

Что движет гениями, что заставляет их добиваться своего, помогает преодолевать соблазны земной жизни во имя вечности? Не важно, признают гения или нет, не существенно, как он живет — главное, чтобы он мог творить. В каких же условиях это будет происходить — для него не важно. «Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего: больше ни часу мне не нужно», — писал Гоголь в 1841 году. Работать, работать, работать — вот истинное призвание гения. Можно ли это сознательно запрограммировать, можно ли это культивировать или приостановить? Двадцатипятилетний Гоголь отмечал: «Что-то непонятное двигало пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувствие вошло в мою грудь...».

Ученые люди, попытайтесь понять, изучить, объяснить эту невидимую силу! Пока все еще такую же непонятную, как и во времена Дюма. Силу, жившую в душе потомка антильской рабыни и революционного генерала.

Из архивов тайной полиции

Около месяца пробыл Дюма в Петербурге, конец июля и весь август — в Москве; затем 7 сентября отправился в Переяславль-Залесский, а потом через Калязин и Кострому в Нижний Новгород, оттуда в Казань, Саратов, Астрахань. За пять

ского института имени Пирогова. В 1962 году я окончил этот институт, поступил в аспирантуру, но потом был объявлен призыв к столичным институтам начать шефство над целинными областями и краями. Я поехал на Алтай.

Перед отъездом, когда мы собрались во дворе института, один из преподавателей сказал: когда-нибудь о сегодняшнем дне будут разыскивать документы истории нашего института, а они, эти документы, если только сохранятся, будут вон в том доме.

И он махнул рукой в сторону высокого забора. Тысячи раз я проходил мимо него, но ни разу не был внутри. Я знал, что там находится архив. Как он назывался, что за документы в нем хранились — это меня тогда мало интересовало. И, конечно, мне и в голову не приходило, что пройдет четверть века и я буду приходить сюда, работать и получать ото всего этого несравненную радость.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР), расположенный на Большой Пироговской улице, один из самых больших в нашей стране. В нем хранится множество документов, в том числе и все секретные сведения из святой святых царской жандармерии.

Тот день, когда заведующая отделом информации ЦГАОРа Наталья Васильевна Михайлова дала мне «Дело» Дюма, был, наверное, счастливейшим в моей жизни: я держал собственными руками легендарное «Дело»! На каждом из десяти составлявших его документов было выведено «секретно» или «весьма секретно», на полях некоторых стояло «Должено Его Величеству», на обложке начертано «Хранить навсегда».

На обложке «Дела» написано:

Его императорского величества собственной канцелярии отделение III, экспедиции 3, № 125 «Об учреждении надзора за французским подданным писателем Александром Дюма» и дата — 18 июля 1858 г.

Первый документ

Г-ну начальнику 2-го округа корпуса жандармов.

Известный французский писатель Александр Дюма (отец), прибыв в недавнем времени из Парижа в С. Петербург, намерен посетить и внутренние губернии России, для каковой цели собирается ехать в Москву.

Уведомляя о сем Ваше превосходительство, предлагаю Вам

31023010033

во время пребывания Александра Дюма в Москве приказать учредить за действиями его секретное наблюдение и о том, что замечено будет, донести мне в свое время.

генерал-адъютант князь Долгорукий.

18 июля 1858 г.

Второй документ

Г. наместнику Кавказскому

Известный французский писатель Александр Дюма (отец), прибыв в недавнем времени туристом из Парижа в С. Петербург, отправляется ныне во внутрь России с намерением быть также в Тифлисе.

Сообщая о сем Вашему Сиятельству, с тем не изволите ли Вы, милостивый государь, признать нужным учредить за Александром Дюма во время его пребывания в Тифлисе секретное наблюдение, покорнейше прошу о последующем почтить меня Вашим отзывом.

генерал-адъютант князь Долгорукий.

19 июля 1858 г.

Третий документ (отослан из Тифлиса 20 августа, получен в С. Петербурге 4 сентября 1858 г.)

Вследствие отношения ко мне Вашего Сиятельства от 19 июля настоящего года за № 676 по предмету надзора за г-ном Дюма, честь имею сообщить Вам, милостивый государь, что по приезде г-на Дюма в Тифлис мною будет назначен для нахождения при нем в качестве переводчика и путеводителя благонадежный чиновник, которому вместе с тем будет поручено и наблюдать за ним.

Этою мерой я полагаю совершенно удовлетворительно замечать полицейский надзор.

генерал-адъютант князь Барятинский.

Продолжение следует





Зоя МАРЧЕНКО

ВСТРЕЧИ С ГРУЗИЕЙ

Н икогда я не была в Грузии... Первое мое — заочное — знакомство началось с «Мцыри» Лермонтова. Музыка стиха, яркость непривычных для меня образов природы, людей, вся экзотика жизни этой страны с детства остались в памяти. Строки эти до сих пор помню и даже иногда читаю вслух. Не думала, что придется встретиться с людьми этой страны. Рада, что судьба послала мне это, хотя и дорогой ценой.

Мне много лет, уже 82-й год. Подвожу итоги. И, конечно, плохое уходит, а светлые воспоминания выступают как-то ярче. Хоть эпоха и прошла по моей жизни широким колесом. С 1931-го по 1954-й год бросали меня и в тюрьмы, и в лагеря, и в ссылку. Страшная комбинация букв «КРТД» (контрреволюционная троцкистская деятельность) сталкивала с разными людьми, большей частью наиболее угнетенными даже в лагере. И тяжесть обстановки особенно «проявляла», как лакмусовая бумажка, характеры и качества окружающих женщин. Сильно страдали от гнета лагерной жизни южанки — грузинки, украинки. Привыкшие к доверчивости, искренности, теплоте в отношениях между собой, к традиционному почитанию со стороны мужчин, они тяжело сносили хамство, грубость, неуважение. Замыкались в себе, иногда вырабатывали «защитную» броню, но всегда выглядели особенно непривычно среди бараков, бушлатов, нар, разводов, окриков охраны.

О трех таких встречах, связанных с Грузией, и хочется рассказать.

Весной 1938 года я оказалась во Владивостоке, на Черной речке, на пересылке. В огромном бараке, полном самых разных женщин, одинаково лишенных и свободы, и близких, одолеваемых тяжелыми мыслями, было много молодых, красивых. Несмотря на привычную подавленность, некоторые из них привлекали мое внимание. Помню красавицу-грузинку. Она выделялась и наружностью, и одиночеством — была всегда без со-



седок, и потрясающим несоответствием обстановки со всем ее обликом. Это был прелестный, южный, экзотический цветок, попавший в барак. Узнала, что эта женщина — артистка, жена одного из крупных работников Грузии; муж ее расстрелян, сейчас ее отправляют на Колыму. Держалась она замкнуто, почти ни с кем не общалась. Но случай свел меня с ней. По дороге во Владивосток, когда нас переводили из новосибирской пересылки на вокзал, наши вещи были погружены на подводу, а мы шагали пешком. Пришел поезд, нас погрузили, а вещи... конечно, опоздали. Нам было сказано, что они следуют за нами. Уже во Владивостоке мы, группа, шедшая тогда на новосибирский вокзал, просили вернуть наши вещи. Конечно, просьбы оказались бесполезными. А впереди Колыма — мы уже знали об этом (хотя и срок, и статью, и пункт назначения мне объявили **лашь во Владивостоке, а везли с Украины!** Какая это была для **них** мелочь: везут человека месяцами и не говорят куда).

Кто-то из соседок проведал, что эта артистка готова продать новую телогрейку. А у меня после перехода через все этапы сохранилось 4 рубля. Весь мой капитал! Рассчитывать при такой скудости было почти не на что. Но я решилась, подошла к ней с вопросом — правда ли, что она продает телогрейку и сколько за нее хочет? Глядя на меня своими чудесными темными глазами, грузинка почти безразлично сказала: «Сколько дадите!». Я предложила свои единственные 4 рубля. И она отдала мне чистую, новую телогрейку, которая спасала меня еще очень долго и на пересылке, и на пароходе, и первое время в Магадане...

Не знаю ни имени, ни фамилии той прелестной женщины. Но если эти строки попадут к ней, пусть знает, что добрые дела живут вечно и моя благодарность к ней остается до сих пор! В самом Магадане мы уже не общались, каждая пошла своим путем по разным бригадам.

Прошел ряд лет с редкими радостями и многими страданиями... Уже «повторницей», в 1948-ом году, я попала за Полярный круг на строительство железной дороги, ведущей от Оби на восток, а от Енисея на запад. Позже уже в литературе ее называли «мертвой дорогой». Это была прихоть Сталина, невероятно дорогое строительство, после его смерти прекращенное. Но работы там уже велись, существовала цепь лагерных пунктов, а также рабочая сила — конечно, заключенные: и мужчины, и женщины. Начальство состояло из «вольных», а среднее звено — врачи, инженеры, бухгалтеры, прочие интеллигенты — из ссыльных, которым было назначено бессрочное

проживание в Красноярском крае. Попала туда и я. И в очередное перемещение, когда наши должности требовались для «вольных» и нас, ссыльных, бесцеремонно сдвигали ниже, попала экономистом на 18-й километр, на озеро Вымское, где располагался женский лагпункт, за которым был закреплен участок уже отсыпанной, даже действующей, железной дороги. Строительство шло в условиях вечной мерзлоты, работа часто бывала бесполезной — отрытые за день кюветы к следующему утру снова заполнялись грязью. Бороться с чедяными линзами, лежащими под тонким слоем почвы, тогда еще не умели. Но работы велись, «вертушка» — рабочие поезда с гравием — ходили. И на лагпункте действовал рабочий аппарат: прораб, экономист, бухгалтер, нормировщик и прочие. Конечно, здесь «58-ой» статьи, то есть политических, уже не было. Были уголовницы и так называемые «административные преступницы», то есть совершившие какие-то бытовые проступки. Наиболее грамотные назначались в «штаб», то есть больше не посылались на общие, физические работы, а выполняли обязанности людей интеллигентного труда. Среди них выделялась и наружностью, и общей повадкой одна молодая женщина. Звали ее Валя Табидзе. Она была очень хороша собой — огромные серые глаза, правильные черты лица. Мы с ней как-то сразу потянулись друг к другу, но...

Строительство велось системой «ГУЛАГ»а. Это было очередное литературное предприятие. То, что я туда попала, явилось для меня очень большой удачей. Массе «повторников» приходилось в суровом Красноярском крае зарабатывать гроши сбором смолы-живицы с деревьев или, не имея никакой работы, жить, надеясь на помощь родных. У меня был очень приличный заработок, через год даже разрешили нам начислять «северные надбавки». И я сразу же начала посылать домой деньги, немного приоделась. А когда приехала в Ермаково, кроме той одежды, которую носила, ничего не имела, и окно в палатке завешивала снятой с себя юбкой. Сохранила еще переданный мне в тюрьму товарищем убитого на войне брата котелок, которым мы, четверо соседей, пользовались. Не было ни одеяла, ни ложки, ни плошки... Начиная с 1929 года (когда старший брат попал на 10 лет на Соловки и погиб там в 1937 году), родители влачили совершенно нищенское существование, живя на скудный учительский заработок. Просить их о помощи нельзя было. А случай, забросивший меня на эту стройку, помог материально окрепнуть и дать им хоть что-то. Словом, я ценила свою работу. Но одним из условий нашего проживания было требо-

вание не иметь контактов с заключенными. Так же, как и вольнонаемные, заключенные обязаны были бойкотировать нас, ссыльных... Вот такая сложилась иерархия. Ссылным надлежало раз в 10 дней являться «на отметку» к коменданту, кажется, Чубенко. Вольнонаемные, хотя среди них находились и бывшие заключенные, уцелевшие от «повторничества», имели тоже указание с нами не водиться. Присмотр за нами осуществлялся везде и постоянно. И, зная это, я проявляла максимум осторожности в разговорах даже с лагерницами, связанными со мной по работе. Валя Табидзе была, кажется, нормировщицей. Еще несколько девушек, которые дружили между собой, хорошо знали свою работу, так что мне, довольно неопытной в «подспудных» лагерных делах, было нетрудно.

Изредка мы перебрасывались словами. Валя понимала сложность моего положения: душой — с ними, лагерницами, а внешне — уже — «начальство». Узнала, что она с мамой жила, кажется, за границей, — может быть, я ошибаюсь, — что ее молодой муж тоже где-то отбывает заключение. Никогда я не спрашивала, за что и как Валя — человек из среды высокоинтеллигентной и культурной — попала в лагерь. Но мы как-то с полуслова понимали многое.

Все мои молодые годы прошли между лагерями и ссылкой, так что я, смутно ощущая какую-то значительность фамилии Табидзе, в то же время не знала точно, что за ней стоит. Позже, конечно, узнала трагедию этой семьи. Но до сих пор не уверена — дочь ли поэта или его родственница Валя, и связано ли ее заключение с судьбой этой семьи?

После смерти Сталина строительство дороги было закрыто, верхнее строение пути, подвижной состав и прочее — переданы на баланс Ангарстроя. Лагерь вывезли. Мы, ссыльные, расползлись по обширному Красноярскому краю — как кому повезло.

К тому времени я вышла замуж тоже за ссыльного. Он был инженер-строитель. Мы попали сперва в Красноярск, затем в Кемерово. Специальность мужа помогала всегда иметь работу и жилье.

А с Валею мы переписывались ряд лет. Она уже освободилась, жила в Ставрополе на Волге, встретила с мужем. Видимо, оба там работали. Но судьба продолжала меня перебрасывать, а Валя, очевидно, тоже куда-то уехала. И наша переписка прекратилась. О чем я жалела...

За годы скитаний по тюрьмам — а мне, как я уже писала, пришлось быть в них трижды, судьба посылала общение с

разными людьми. Были и мало интересные, были и личности, выделяющиеся даже на фоне многих сотен. И несмотря на огромный «жизненный фильм», переполненный женскими образами, лицами, рассказами, к тем, кто остался в памяти, отношу и Веру Федоровну Шухаеву, которая, как мне известно, последние годы жизни вместе с мужем провела в Грузии, где их тепло встретили.

Мы оказались в одном бараке в городе Магадане, на Колыме, на так называемой «командировке Промкомбината». Я знала, что она — художник, слышала от соседок, что ее муж, тоже художник, В. И. Шухаев находится здесь же на Колыме. В то время Вера Федоровна работала художником в местном ателье по пошиву дамского белья и платья. Дальстрой был создан, в первую очередь, как мощная производственная машина, обязанная любой ценой (подчеркиваю — **любой ценой**, что и делалось) добывать на Колыме золото для страны. Кроме заключенных, безмолвных и обреченных на беспросветную работу, был там и слой так называемых «договорников», приехавших уже по найму, на срок, имевших, конечно, повышенные оклады и претендовавших на особые, улучшенные, условия жизни. Даже прибыв в Магадан в роли скромной машинистки, фельдшера или рядового врача, эти люди уже в силу обстоятельств начинали чувствовать себя «особыми», иными, чем общий фон заключенных. На Колыму «пускали» не всех, а лишь особо проверенных, с самыми «чистыми» паспортами. Прием на работу оговаривался условием «не общаться с заключенными», не помогать им, вообще исключить из круга своей жизни этот слой населения Магадана. Правда, особо ответственным начальникам разрешалось иметь домработниц из числа заключенных. На эту работу посылались лишь женщины наименее опасных статей, главным образом, с буквами ЧСИР, что означало «член семьи изменника Родины». Ведь статей Уголовного Кодекса — официального закона страны — у нас не было. «Тройка», «ОСО НКВД» имели право вершить наши судьбы, просто клеймя буквами. И в нашей «зековской» жизни эти буквы уже много значили... Самая страшная из них — «Т» — троцкизм! Думаю, и Троцкий не знал, какую ему огромную армию создали в лагерях, шельмуя людей этими страшными короткими наборами букв: КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность), КРТА (контрреволюционная троцкистская агитация)...

Так вот, в домработницы начальников брали главным образом женщин с буквами ЧСИР. И насколько высокого мне-

ния «вольнонаемные» были о заключенных женщинах, можно судить по такому примеру: как-то на женский лагерный пункт поступила заявка на домработницу со следующими требованиями: 1) уметь готовить, 2) уметь оформить по самому высокому классу обеденный стол, 3) уметь крахмалить белье, 4) знать 2 языка как минимум (?!), 5) уметь воспитывать детей, словом, «вести дом на самом высоком уровне». Однажды даже произошла трагедия: одна «наша», попав в домработницы к большому начальнику, стала причиной ухода его от жены. Конечно, мы, заключенные, даже несколько гордились — мол, каковы наши женщины! Много лет спустя, когда я как ссыльная находилась в Красноярском крае и работала на строительстве той самой «мертвой дороги», вдруг к нам на заполярное строительство прислали как раз этого именно начальника. И его женой оказалась та самая «наша» магаданская «чсировка». И с ними прелестная девочка, вылитый портрет отца. Здесь невероятно счастливое решение жизни...

Но в массе своей «вольнонаемные» — жены служащих, инженеров, местного воинского гарнизона, всякого рода начальников — особой культурой не отличались. А претензий было много. И Дальстрой, распределяя рабочую силу в первую очередь непосредственно на добычу золота и сопряженные с ней предприятия (сельхоз Эльген, птицефабрика, дровозаготовка и лесоповал, больницы, зрелищные объекты), должен был выделять какое-то количество рабочей силы и для обслуживания бытовых нужд. Одним из таких учреждений являлось ателье по пошиву женского платья и белья. Дамы-«договорницы», среди которых были и впервые в жизни столкнувшиеся с возможностью красиво и дорого одеться, иногда просто издевательски вели себя с бессловесными, всецело зависящими от них и от «пайки» женщинами-заключенными...

Сама я в ателье не работала, но моя бригада упаковщиц жила в одном бараке с вышивальщицами и швеями. Часто слышала от них обиды на заказчиц. Например, помню рассказ об одной молодой жене офицера — ей не понравилась вышивка на ночной рубашке (а они шились из крепдешина и вышивка, иногда филейной, тончайшей работы, занимала почти весь перед изделия) и она с возмущением кричала: «Да меня муж прогонит с кровати в такой сорочке!» Это перед полуголодными, измученными, давно оторванными от семьи и мужей молодыми женщинами!

Помню, что там делались носовые платки, в которых лишь небольшой квадрат был нетронут — все остальное выполнялось

филейной работой, тончайшим кружевом! Работа, возможная лишь в условиях рабства!

И вот в таком ателье Вера Федоровна Шухаева слышала, до этого работавшая художником на московской шелкоткацкой фабрике «Красная Роза», должна была выполнять, советовать, выслушивать все, связанное с прихотью «договорниц», их спесью, завистью к другим, этим букетом женского дешевого честолюбия.

Из ателье женщины приходили предельно усталые, выжатые, хотя и сидели в теплом помещении (что было уже огромным благом!) Но нормы были ужасающими — и на вышивку, и на плетенье. Однако «человеческое» в них не затухало. И вот что мне рассказывала позже, уже в Ленинграде, Тина Келлер, работавшая вышивальщицей. Когда к ним попадала газета или еще какое-либо «чтиво», они усаживали старую Софью Михайловну Антонову (члена партии с чуть ли не дореволюционным стажем) и она читала вслух. А все женщины поочередно выполняли ее кусочки вышивки, чтобы и у нее была «выработана норма»...

Вера Федоровна, высокая, худенькая, бледная, приходила с работы настолько уставшей, что говорила мало, общалась лишь с несколькими близкими женщинами. Конечно, ее жизнь еще очень омрачалась мыслью о муже, известия попадали редко, но уже к моменту моего пребывания в общем бараке Василий Иванович был вызван с прииска и работал художником на отделке здания театра в Магадане. Это уже была ЖИЗНЬ, убогая, полуголодная, но без ужаса нависающей ежедневно смерти, что являлось повседневностью для рабочих на прииске. Иногда женщины, трудившиеся с ним на строительстве театра, могли принести ей весточку...

Попала я в лагерь тридцатилетней. Еще полной жажды что-то в жизни узнать, как-то урвать, что можно, от культуры. И, несмотря на замкнутость и молчаливость Веры Федоровны и страх нарушить ее отдых, иногда позволяла себе, прогуливаясь перед сном по зоне, обратиться к ней. Несколько раз, гуляя под северным небом, в окруженной проволокой зоне, с привычным грузом горя и тоски по родным, по мужу, мы беседовали об искусстве. Помню, я просила ее подробнее рассказать мне об импрессионизме, ведь она жила в Париже, бывала во многих музеях. И она рассказывала мне, и мы забывали о нашей повседневщине... Однажды «пошел» по бараку томик «Жития протопопа Аввакума». Мне его давала читать

Вера Яковлевна Устиева (тогда еще Верочка Ефимова). И, конечно, он не миновал В. Ф. Шухаеву.

Конечно, барачные дразги и сплетни просто отскакивали от таких людей. Быт барака уже был достаточно налажен, мы притерпелись и к скромности наших запросов, и к внезапным обыскам. Но даже то, что в нашем бараке живут люди, подобные Вере Федоровне, подававшей пример стойкости, терпения, такта и высокой культуры, заставляло и нас, более молодых, держаться достойно!

Все эти листки воспоминаний — куски подлинной жизни, пережитое моим поколением, из которого уже столько ушли, а мы, оставшиеся, обязаны еще успеть что-то запечатлеть.

Я записывала все это не только для того, чтобы рассказать о судьбах и обстоятельствах, знание которых может быть интересно историку, да и просто читателям, но и для того, чтобы с помощью журнала разыскать кого-либо из моих бывших товарищей по несчастью и послать дружеский привет тем людям, которые оставили в душе светлый лучик, ибо убедилась — добро всегда вызывает ответное добро. И если эти странички помогут мне получить отклик и ответ, буду очень рада.



Вера Федоровна Шухаева **(1896—1979)**

Краткая биографическая справка

Вера Федоровна Шухаева, урожденная Гвоздева, вторая жена художника В. И. Шухаева, окончила Высшие женские курсы в Петербурге по романо-германскому отделению. Она свободно владела четырьмя европейскими языками. Со своим будущим мужем Василием Ивановичем Шухаевым познакомилась в 1914 году в Италии, где он завершал свое художественное образование после окончания Петербургской Академии художеств. С 1917 года и до конца дней своих они были вместе.

В 1920 году по разрешению А. В. Луначарского Шухаевы переехали в Финляндию, а затем, в 1921 году — в Париж, куда их вызвал А. Е. Яковлев, близкий друг и соученик В. И. Шухаева по петербургской Академии художеств, получивший к тому времени европейскую известность.

Жизнь на чужбине не баловала: чтобы как-то просуществовать, надо было много работать. Помогая мужу, Вера Федоровна проявила не только деловую сметку, но обнаружила и недюжинный талант живописца, хотя и не получила специального художественного образования.

Она занялась росписью ширм, подносов и шалей. Помогала мужу и А. Е. Яковлеву в исполнении заказов на оформление интерьеров, а затем стала разрабатывать эскизы росписи тканей. Ее работы обратили на себя внимание: крупнейшая лионская шелкоткацкая фирма Бьянкини заключила с ней контракт на исполнение эскизов росписи шелковых тканей.

В 1934 году В. Ф. Шухаева вернулась на родину, чуть позже приехал и В. И. Шухаев, приглашенный преподавать в Ленинградский институт живописи, архитектуры и скульптуры, бывшую Академию художеств. Со времени приезда в Москву и вплоть до ареста в 1937 году Вера Федоровна руководила художественной мастерской на московском комбинате «Красная Роза», выпускавшем шелковые ткани. С ее приходом значительно оживилась деятельность художественной мастерской, появились новые интересные композиции в расцветке тканей.

В 1937 году Шухаевы по ложному доносу были обвинены в шпионаже, арестованы и осуждены на 8 лет заключения. Будучи освобождены за истечением срока в 1945 году, они еще два года провели в Магадане. С 1947 года Шухаевы жили в Тбилиси, где Вера Федоровна некоторое время работала консультантом при художественном совете Министерства легкой промышленности Грузинской ССР.

Наделенная щедрой и доброй душой, она всегда привлекала к себе людей. Во Франции среди ее друзей и знакомых были многие деятели русской и французской культуры: художники А. Е. Яковлев и К. А. Сомов, писатели А. Н. Толстой и И. А. Бунин, композиторы С. С. Прокофьев и И. Ф. Стравинский, издатель Люсьен Вожель и писатель Андре Жид.

В гостеприимном доме Шухаевых в Тбилиси бывали С. Рихтер и С. Капица, А. Райкин и Ю. Григорович, С. Нейгауз и С. Кобуладзе. Тесная дружба связывала Шухаевых с Е. Д. Ахвледиани, принявшей живое участие в их судьбе, помогавшей им устроиться в Тбилиси.

Для всех, кто когда бы то ни было знал Веру Федоровну Шухаеву, она навсегда осталась образцом подлинной человечности, искренней доброжелательности и удивительного бескорыстия.

Нонна ЭЛИЗБАШВИЛИ,
кандидат искусствоведения



Ирина ДЗУЦОВА

Поэтические родники старого Тбилиси

Глубоко своеобразный городской фольклор старого Тбилиси всегда привлекал наше внимание, и можно без преувеличения сказать, что объем и значение его в конце XIX — начале XX веков были огромны. Народная культура старого города была реалистической и демократичной. Ее содержанием стали переживания и чаяния простого человека с его гуманистическими идеалами. Народные поэты (вместе с их издателями) были сродни средневековым переписчикам. Изменились разве что литературное содержание и способы распространения: рукописные книги сменились печатными изданиями.

Замечательному грузинскому поэту Иосифу Гришашвили (1889—1965) принадлежит книга «Литературная богема старого Тбилиси» (впервые издана в 1926 году), в которой он не только воспел народную стихию мудрости, но существенно определил ее подлинный смысл в новой социальной системе мировоззрения. Народные поэты старого Тбилиси обладали талантом непосредственного, искреннего и чистого видения мира, переживания его в словесных (и живописных) образах. Их язык был по-восточному цветистый, гордо-вежливый, их произведения поэтизировали человека и жизнь, выражали любовь к родине, ее природе и истории. Они были рыцарями своего города.

Стихи, песни, частушки ашугов можно было услышать в ремесленных мастерских, духанах, чайных, кофейнях, а то и прямо на улице. Многие из них учились азбуке по вывескам (как известный революционер Миха Чодришвили), по продуктовой таре и мешкам (как Иэтим Гурджи), были и такие, которые вовсе оставались неграмотными.

Некоторые из народных поэтов сами иллюстрировали свои

книги. Так, И. Гришашвили упоминает о поэте Давиде Лазареве (1832—1919), который держал книжную лавку около Александровского сада. На собственные средства он не только издал «Караманиани», но и осуществил художественное оформление этой книги. И. Гришашвили утверждает, что иллюстрации выполнялись в стиле Пиросмани. И это не случайно: у художника и народных поэтов старого Тбилиси были одни социальные и художественные корни. Вспоенный поэтическими родниками старого города, Пиросмани знал и любил поэзию. Согласно одной из легенд, связанных с его жизнью, он сам писал стихи, а иногда читал строчки, проникнутые чувством горечи. Литература обогащала духовный мир художника, сказывалась на его творчестве, богатейший арсенал живописных образов и сюжетов (как, впрочем, и сопроводительные подписи на картинах художника) которого питали не только древнегрузинский фольклор с его мифами, сказками, песнями, любовно-рыцарским эпосом, не одни предания и новеллы прежних времен, но и современные ему.

И. Гришашвили рассказывает в своей книге и о другом народном поэте — Скандарнове (1850—1917), который оставил после себя 30 поэтических сборников. Вот названия некоторых из них, хранящихся в семье его потомков: «Зеркало для флирта и другие новые стихи и песни», «Маленькая народная муза, сцена, куплеты и недавно пришедшее в голову стихотворение о двоюродном брате», «Шутливый волынщик, любопытные стихи для флирта», «Погибший пароход «Титаник», песни, загадки» и другие.

Книги эти были изданы на дешевой бумаге в типографиях «Надежда», «Гермес» и «Соропань». Некоторые из них иллюстрировал сам автор. Родившись в семье маляра, вместе с любовью к поэзии Саят-Нова Скандарнова унаследовал от отца его ремесло. Он называл себя художником и не забывал указывать на это на обложках книг. Кстати, обложка его сборника «Любовные стихи, песни, куплеты, сатиры и загадки», напечатанного в типографии «Надежда» в 1912 году, украшена изображением группы музыкантов, так называемой «даста», с инструментами в руках перед натюрмортом с поросенком, рогом и другими атрибутами грузинского застолья. Этот почти лубок с натюрмортом, несколько напоминающим вывески старого Тбилиси (и отчасти натюрморты Пиросмани), обрамлен виньеткой в духе стиля... модерн, широко распространенного здесь в начале XX века.

Вспоминая добрым словом народных поэтов старого Тбилиси, нельзя обойти вниманием издателей, владельцев книжных лавок, букинистов, которые способствовали популяризации произведений «литературной богемы». Известна патриотическая и подвижническая деятельность Захария Чичинадзе, занимавшегося не только изданием книг, но и продажей их в собственной лавке в рабочем районе на Авчальской улице в доме № 77 и на 2-й Тумановской, № 32.

Документы Центрального исторического архива Грузии сохранили имена многих других издателей, зачастую рисковавших своим делом, лавировавших между цензурой¹ и определенными кругами общества.

Дворянин Гогичайшвили имел книжный магазин на Головинском проспекте, № 10, Иван Зазиашвили — на Михайловской улице, № 20, Кикнадзе — на Головинском проспекте, № 22, Имедашвили — на Георгиевской улице в доме Арджеванидзе.

Крестьяне Спиридон Лосаберидзе, Аслан Капанадзе, Георгий Болквадзе, Александр Мумладзе (а до него З. Чичинадзе) содержали типографии. Первый — под названием «Братство» на углу улиц Московской и Гунибской, второй — на Давыдовской, № 1, третий владел типографией «Шрома», а четвертый — «Соропань» (в 1909 г.).

Княгиня Меланья Андроникашвили в 1909 году была владелицей типографии «Гуттенберг» на Воронцовской улице, № 1, а дворянин Парфен Готуа был хозяином «Цискари».

Тамара Таварткиладзе, Яшвили, Майсурадзе, Иван Лолуа, Иван Питоев, Иван Тхоржевский, З. Абовьянц, Иван Хеладзе — этот список тифлисских издателей можно продолжить.

В 1884 году в городе насчитывалось 20 типографий, 21 книжный магазин², а в 1906 году на 240 тысяч жителей приходилось 247 книжных лавок, библиотек, картинных и нотных магазинов, 26 типографий, 52 книжных магазина, 30 магазинов, торговавших картинами³.

Книги продавались по всему городу. Их разносили по улицам торговцы мелким товаром и букинисты. Объектив Д. Ер-

¹ Надзор за издательским делом вела не только цензура, но и специальная инспекция типографий и книжной торговли в Тифлисе ЦГИА ГССР, ор. 278, о. 1, д. 9.

² ЦГИА ГССР, ор. 480, о. 3, д. 119.

³ ЦГИА ГССР, ор. 480, о. 2, д. 116. Отчет инспектора книжной торговли.

макова, замечательного фотографа-бытописателя Тбилиси, да и всего Закавказья, запечатлел бродячего букиниста Яшву.

Имя другого букиниста — Георгия Майсурадзе, торговавшего напротив Александровского сада, сохранили архивные документы. Из них же мы узнаем, что букинистом был и Захарий Чичинадзе, предлагавший свой «товар» в лавке под навесом на Солдатском базаре.

Дешевыми книгами торговали и карачогели. По описанию И. Гришашвили, один из них — В. Эсахов ходил в широких шароварах, с книгами в большой плетеной корзине.

Период с конца XIX по начало XX века был временем, когда усилилась тяга всех слоев населения, в том числе трудового люда, городских низов, к знаниям, книге, театру, музыке. Обратимся вновь к архивным материалам. В делах амкаров сохранился доклад председателя старшин Ремесленного клуба⁴, в котором говорится о необходимости открытия учреждения, где ремесленники могли бы получать знания и отдыхать после трудового дня. Таким местом стал Ремесленный клуб, открывшийся лишь в 1915 году (помешала первая империалистическая война). На собранные деньги ремесленники арендовали помещение (дом и сад Таировых), оборудовали сцену, приобрели декорации и реквизит, открыли читальню. 500 членов клуба и 300 постоянных его посетителей выработали устав, параграфы которого гласили о том, что Общество тифлисского ремесленного клуба ставит целью способствовать культурному развитию трудового населения города, что оно имеет право устраивать чтения, беседы, спектакли, концерты, семейные вечера, экскурсии, организовать библиотеку и читальню.

У народных поэтов и их издателей не было четкой идеологической платформы, тем не менее они делали свое дело. Старый рабочий, революционер Миха Чодришвили, например, считал, что сборники стихов поэтов Майдана и «Караманиани» были его школой и учителями. Шло время. Забылись многие имена. Но осталась память о талантливых народных самородках, таких, как Иэтим Гурджи, Давид Гивишвили, Георгий Скандарнова, Антон Ганджискарели и других. Пестрый, шумный рынок старого Тбилиси предлагал «Мясника Михуа, которого утопили в Куре», «Восхваление верийской Вареньке», «Стихотворный рецепт Шушане Чаипхановой» и другие курьезы городского поэтического фольклора, но на смену им уже приходила поэзия гражданского содержания.

⁴ ЦГИА ГССР, оп. 119, о. I, д. 45 от 1914 года

Александр АЛЕКСИДЗЕ

Вид с балкона...

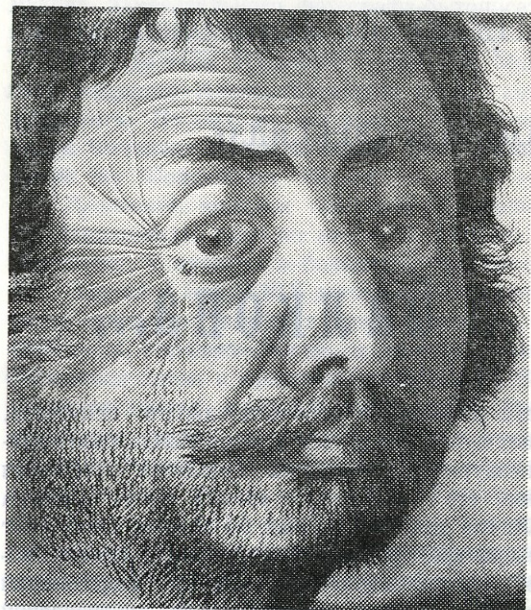
В кругу ценителей и знакотов изобразительного искусства, своих коллег, соучеников и друзей Роберт Кондахсазов давно известен как незаурядный, ищущий художник. Любители книги высоко ценят его культуру, тонкий вкус мастера книжной графики. Лично для меня он как бы соавтор моих книг по византийской литературе, греческому рыцарскому роману, исключительно тонко и точно почувствовавший и выразивший языком своего искусства особую прелесть западно-греческой средневековой культуры. Однако знакомство с Кондахсазовым-живописцем, создающим свои работы в течение всей жизни (они пребывают в стенах его мастерской, вдали от больших и малых выставок и вернисажей) для меня поистине приятно удивившее открытие.

Его мир это прежде всего вид, открывающийся с балкона мастерской в Метехском переулке на колоритный уголок старого Тбилиси с узкими улочками и невысокими домами, на возвышающуюся над ними церковь Красное Евангелие с прорастающими в трещинах ее стен кустиками и деревьями.

Устремленная ввысь вертикаль храма, вырастающего из хаотичной гармонии лестниц и крыш старого города, в картинах Кондахсазова не пейзаж, а — образ. Различные окраски храма в картинах зависят не от перемещения источника света или угла зрения художника, а являются цветовым выражением рождающихся в его душе образов. Цвет предметов возникает здесь не от внешнего освещения вещей, он как бы результат их внутреннего свечения, выражающего их суть, назначение, место в общем звучании произведения. Подобно устремленному ввысь храму, как образы-символы воспринимаются также и переходящие из картины в картину деревья с отпиленными поч-



ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ



Р. Кондахсазов. Автопортрет. 1979 г.

ти до ствола ветвями, гранаты с иссохшей коркой, голубая прозрачность пруда (или купели), олицетворяющая чистоту и ясность, или напоминающая преисторические существа ящерица на камнях старых развалин — как символ древности...

При наличии подобных образов-символов искусство художника глубоко чуждо рассудочности и умозрительности. Единственная логика, которой он следует, это логика линий и красок, это художественный поиск, начинающийся с чуткого ощущения, острого осязания формы, фактуры предметов и развивающийся затем как стремление проникнуть в их глубину, в их «содержание», их пластическую анатомию (будь то гранат, увлекающий воображение художника удивительным внутренним строением, или дом со скрытым за его стенами многообразием жизни).

Этот пластический анализ и синтез, эти переходы «изобразительного» в концептуальное и составляют суть мышления художника, его восприятия и видения мира. В этой связи вместе с другими картинами вспоминается ночной пейзаж «Луна» с его регистрами: высшим — с деромантизированной, изрытой

глубокими безжизненными кратерами луной и низшим поэтическими крышами погруженного в сон города.

Впрочем, говорить о пейзажах, натюрмортах, портретах в творчестве Кондахсазова можно лишь крайне условно — между легкости, с которой преодолеваются жанровые грани, жанры сочетаются и синтезируются — пейзаж с натюрмортом, с портретом и даже с семейным автопортретом.

Говоря о **своем, собственном** в живописи Р. Кондахсазова, хочется особо сказать о его палитре, о красках — не ярких, не броских и ослепляющих, а напротив — часто как бы приглушенных, матовых, ласкающих глаз, которые иногда могут показаться странными, даже неестественными, когда сирень — не сиреневого цвета, а гранат — не гранатового. Но именно в этом весь Кондахсазов-художник — отдаляющийся от предмета для того, чтобы подойти к нему ближе, показать его суть, характер с предельной выразительностью.

Принцип отдаления ради приближения лежит в основе искусства художника и как портретиста. Первое впечатление от его портретов — эффект, производимый исключительным сходством с моделью — внешним и внутренним (здесь то же стремление проникновения вглубь, создание **портрета души**). И уже после, всматриваясь в технологию портрета, мы с удивлением обнаруживаем его необычные приемы — сочетание разноцветных пятен, накладываемых на лица, подобно мазкам грима, смещение цветов, не присущих человеческому лицу (как это происходит в великолепном «Портрете матери», где глубокие морщины на зеленом и красном фоне подобны бороздам на «поле» пройденной жизни, а ступеньки в углу портрета вызывают двойную ассоциацию — с прожитыми годами и с идеей родного дома).

Иной раз может показаться, что Кондахсазов, мастер широко эрудированный, использует в своем творчестве наподобие цитат и реминисценций элементы средневековой живописи (условное изображение природы, строений, перспективы). Но такое впечатление ошибочно: в его полотнах все возникает лишь как естественный, органичный результат поиска современным художником наибольшего лаконизма, экспрессии, образности.

...Как много можно, оказывается, увидеть с балкона собственного дома, если смотреть глазами художника, способного видеть и чувствовать внутренний свет явлений окружающего его мира. Это свет, исходящий от близких людей, от родного города, любовью к которому проникнуто все творчество Роберта Кондахсазова.





„ВРЕМЯ И МЕСТО“

Книга критика и литературоведа, доктора филологических наук Г. А. Белой, вышедшая в издательстве «Мерани», удачно названа строчкой Булата Окуджава — «Путешествие в поисках истины», где истина понимается как реализм. Совершая путешествие в мир творца — Л. Леонова, М. Зощенко, В. Каверина, К. Симонова, Б. Окуджава, Ю. Трифонова, Т. Чиладзе, Ч. Амирэджиби, О. Чиладзе — исследователь пытается определить время рождения произведения и его место в истории литературы. Исходный тезис для критика — способность реализма «к самодвижению и независимости от авторской воли». Отношение же к форме сформулировано следующим образом: «...простота — знак не беспомощности искусства, но его могущества». Сама книга — яркий тому пример.

Построение сборника напоминает цикл лекций, в которых изложены давно устоявшиеся суждения. Но это — видимость академичности.

На самом деле взгляды Г. А. Белой на литературу глубоко оригинальны и, как все оригинальное, спорны. Разноголосицу мнений она воспринимает как реальность, неизбежность протекающего литературного процесса. Поэтому так спокоен ее тон, так терпимо относится она к противоположным ее точке зрения взглядам. Книга написана мудрым человеком, сознающим, что окончательная победа будет за настоящим искусством.

Построение отдельных глав подобно пути. Вместе с ученым мы вникаем сначала в истоки, а уж затем пытаемся определить проблематику, особенности и место исследуемого произведения в современной литературе. Так прослеживает Г. А. Белая восхождение Л. Леонова к реализму от первых сказочных рассказов через «Конец мелкого человека» и «Записки Ковьякина» к «Барсукам». Так показано и творчество М. Зощенко, начала которого критик находит в «установке на синтез сатиры и морализирования», восходящей еще к традиции

Гоголя. Сначала Зоценко показан разоблачителем народнических тенденций, а затем — мещанства. За основу своего исследования Г. А. Белая берет мысль, сформулированную еще Ц. Вольпе: Зоценко разоблачает не просто мещанство, а «тип мещанского сознания»: «...читателю, пережившему революцию, писатель рассказывает об инертности общественного бытия, о консерватизме нравственной жизни и о той высокой духовной ответственности, которая требуется от человека, призванного преодолеть косность и инерцию». Взгляд аналитика-реалиста позволил увидеть и слабость метода, выбранного писателем. По мнению Г. А. Белой, «причины «недочетов» и «неудач» были окончательно перенесены внутрь человека». Зоценко писал: «Сколько я мог заметить, упираются они, главным образом, в недочеты человеческой природы — в глупость, в халатность, леность, эгоизм, корысть и преступность». Впрочем, это замечание как бы снимается заключительным тезисом о том, что великий сатирик тем не менее «обогнал нас — он продолжает открывать нашу эпоху».

Прогрессивное значение рассматриваемого сборника статей — в признании многообразия реализма. Г. А. Белая ценит самобытность таланта. «Писатель защищал право художника быть самим собой», — пишет она о В. Каверине. Прислушаться к писателю — вот ее позиция. Не случайно вопреки большинству критиков автор книги утверждает, что повесть Ю. Трифонова «Другая жизнь» — о «смертельном горе»; она останавливает внимание читателей на эпиграфах в романах Б. Окуджава и делает точные выводы о творчестве обоих писателей: «...сойдясь в нашем воображении, эти фигуры моментально же отталкиваются друг от друга... Трифонов всегда мечтал создать героя с непогибшим «идеальным» началом — и ему это почти ни разу не удалось. Окуджава же хотел бы быть плотью земли, ее черным хлебом (он знает ему цену), но его неумолимо выносило и выносит на исследование «идеального» в человеке».

Единственный пример несогласия критика с писателем, вернее, с его оценкой собственного произведения, — это спор с Ч. Амирэджиби о его философском, как определяет его Г. А. Белая, романе. По мнению создателя «Дата Туташхиа», «структура личности трехслойна: ее составляют натура человека — этическая традиция — нравственная установка человека», а «жизнь человека зависит от обстоятельств». В полном согласии с нормами реалистического романа критик утверждает: «связи обстоятельств и судьбы человека... при проверке их

художественным развитием героев лишены фатальной предопределенности».

Особенно интересна глава об Отаре Чиладзе, хотя именно в ней встречаются повторы. Впрочем, это не беда, как не беда и обильное цитирование. И в том, и в другом проявилась увлеченность литературоведа, считающего Чиладзе новатором. Вот как определяется в книге своеобразие творчества грузинского писателя: «Отношения человека и мира он толкует как противостояние». Г. А. Белая исследует связи романа «Шел по дороге человек» со следующим полотном — «И всякий, кто встретится со мной...» Критик обращает внимание на значимое «в трезвой, аналитической, испытующей художественной системе О. Чиладзе» понятие добра, которое, по мнению прозаика, бродит между нами «вслепую». «Не быть ему силой, пока не прозреет. Но прозреет ли?».

В статье о грузинском писателе наиболее ярко проявился взгляд Г. А. Белой на «одну из самых существенных сторон искусства XX века — взаимодействие аналитического и синтетического начал в художественном мышлении». Как верно отмечено в сборнике, в стремлении художника «вывести синтезирующую авторскую мысль из образной системы и поставить ее как бы над нею, — сказалась общая тенденция времени». В силу этого произведения Ч. Амиреджиби и О. Чиладзе рассматриваются не просто как бесспорные завоевания национальной литературы, а в контексте общелитературного процесса. Исследователя занимают экзистенциальные проблемы и то, как они интерпретируются самими разными писателями.

Объективность позиции историка литературы предопределила ненавязчивую, но явную тенденциозность «Путешествия». Она — в неустанном следовании истине, в стремлении раскрыть идеологическую, а в применении к тем писателям, о которых написана книга, — гуманистическую направленность советской прозы.

Совсем не случайно возникают в главе об А. Воронском его примечательные слова: «Из тонкого оружия марксистской критики в таком понимании (речь о псевдореволюционной критике — А. Ф.) теория превращается в обух, которым гвоздят направо и налево, без всякого толку и без разбору... Классовая борьба превращается в самоцель, она самодовлеюща, она не служит средством для поступательного развития человеческого общества». Не менее актуально звучат мысли о прозе П. Слетова: «Идея защиты личности..., утверждение за ней права на самостоятельность восприятия и осмысление реально-

сти была сконцентрирована в лозунге защиты личности художника, его внутреннего мира».

Особенность позиции Г. А. Белой полностью раскрывается в словах, заключающих труд и посвященных прозе любимого ею О. Чиладзе: «Зло порождается страхом перед миром; страх парализует волю и тем искажает человеческую природу. Добро — это активность духа, в обыденной жизни проявляющаяся как решительность поступка, направленного на «освоение мира», — реального мира, с его страстями, победами, поражениями. Когда человек чувствует себя частью этого мира, когда он наделен чувством жизни, — он способен противостоять Злу в любой ситуации».

Анна ФАЛИЛЕЕВА



„НЕСБЫВШЕЕСЯ— ВОПЛОТИТЬ...“

Не в характере Мзии Хетагури выставлять напоказ исторические реалии, этнографические диковины или раритеты: выходя на свою «малую» сцену, где возведен воздушный замок, в котором от века пребывает Женщина, поэтесса не осмещает его аналогиями, ибо проливать свет на очевидное не имеет смысла...

Каждая женщина
Вчера, сегодня или завтра —
Покинутый остров...
Безбрежный океан ее любви
Не знает покоя...
В бушующем урагане страстей

Мзия Хетагури. След стертого слова. Стихи. Поэмы. Перевод с грузинского, Тбилиси, «Мерани», 1987.

Она погибает...

И только слабый луч надежды —

Ее спасение...



ЭДИЦИОН
2022010000

Подчеркивая обстоятельства времени — «Вчера, сегодня или завтра...», — поэтесса не придает им того всеокрушающего значения, которое они в себе несут. «Бушующие ураганы», не сознающие своей зависимости от внутренней силы трепетных «спутниц», вызывают, как того и желает автор, наше снисхождение, ведь их победа сомнительна, а самомнение — обманно. И все-таки бессильное «только» несколько печалит нас, ибо подчеркивает, насколько слаб «луч надежды», который, однако, если верить автору, своей слабостью и силен, ведь не экспрессии же ради изображены «безбрежный океан» и «ураган страстей...»

Жестокий напор наступательных строк, накатывающихся на «покинутый остров», умиряется невозмутимостью «островитянки», и хотя она «не знает покоя... она погибает», ее удел высок. Так же высок, как удел деревьев и горных вершин, призванных «встречать и выдерживать шквал урагана, палящее солнце, и стужу, и гром...» Что же до силы «слабого» луча, то она несомненна, не случайно поэтический мир Хетагури освещен лучами, выбившимися, как пряди волос, из огненного шара, и всегда спасительными. В отличие от палящего солнца, которое «обнимает, душит, льнет и не дает мне свечку для молитвы зажечь...», эти одинокие лучи добры и жизнетворны.

...Сухими губами припав к золотому коктейлю,
Соломинкой пестрой бокал осушаю до капли,
Как лучиком солнца...

Живя в мире привычных превращений, героиня Хетагури дорожит тем, что не изменяется и не изменяет: «безбрежный океан» ее любви, дарующей беды, похожие на счастье, «ураган страстей», приносящий гибель и спасение... И призыв к себе — «достаточно маяться дурью» означает для нее не жить по-другому, а мечтать о другом, не проходить мимо того, что «является к людям в обличье уже обнищавшей красы!..»

Вольный, а порой и своевольный пересказ событий, имеющих в жизни определенную «жанровую» форму — драматическую или комедийную — нарушает и эти устойчивые формы, и наше представление об устойчивом. Момент, в который поэтесса застигнута мыслью или настроением, передается ею с

Поэтичной девушкой, не пришлось бы

разочарованно думать:

Боже, неужели это она?!

Неужели это ее совсем не радуют

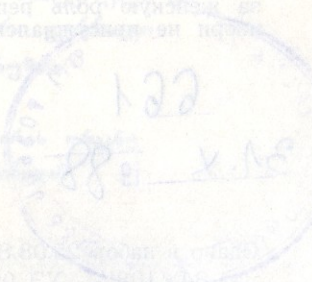
пестрая карусель,

Белые кони, розовый закат...

В заключительных строках книги жестокий напор наступательных строк снова накатывается на «покинутый остров», и героиня поэмы «Карусель», так же как «островитянка», противопоставляет им свою невозмутимую стойкость: мужчины хотят видеть нас юными? Но ведь им мы и отдаем свою юность! От нас требуют беззаботности? — Но ведь те, «кто с годами не менялся душой», — «Васо, Тенго, Гурам и другие» — сохранили себя благодаря нашим заботам...

Что же до воздушного замка, построенного Женщиной и перестроенного Мужчиной: «Да-да, таскал ты камни на плечах, тем и себя обманывая, кстати...» — то он превратился в замкнутое пространство, лишённое света и отлученное от звезд. Каким будет новый замок, мы узнаем, увы, не от самой поэтессы, и потому, завершая наш «откровенный диалог», пожелаем «ну, скажем, в частности» переводчикам этого сборника не утяжелять понапрасну несущих конструкций замка, дабы не явился он людям «в обличье уже обнищавшей красы...»

Эмма СЕРГЕЕВА



«ЗОЛОТОЕ РУНО»

Завершился международный фестиваль телевизионных фильмов «Золотое руно», который проходил на теплоходе «Грузия», курсировавшем по Черноморскому побережью. В течение недели участники и гости фестиваля, в том числе кинодеятели 25 стран мира, просматривали и обсудили около 60 представленных на конкурсе игровых, документальных и музыкальных лент.

Главного приза — «Бронзового Овена» удостоены художественный фильм «Типичный английский переворот» (режиссер Мики Джексон, Великобритания), документальная лента «Мать Тереза» (режиссеры Энн и Джаннет Питри, США), музыкальные фильмы «Леонард Бернштейн в Зальцау» (режиссеры Орент Х. Гольфельд и Гамбрей Бартон, ФРГ), и «Двенадцатая ночь» (режиссер Заал Какабадзе, СССР).

Лучшим исполнителем мужской роли признан итальянский актер Серджо Кастелитто (фильмы «Джованни несмышленный» и «Любовь пять звездочек» из цикла «Площадь Навона»). Приз за женскую роль решением жюри не присуждался.

Специальными призами кинокритиков и журналистов награждены художественная лента «Швидкаца» режиссера Сосо Чхаидзе (СССР), документальный фильм эстонского режиссера Хаги Шейна «Танец в инвалидной коляске» и музыкальная работа «Леонард Бернштейн в Зальцау».

Среди документальных фильмов решением жюри два специальных приза присуждены фильмам Грузинской студии телефильмов «Лунный глобус» (режиссеры Г. Левашов-Туманишвили, М. Антадзе) и фильму Таллинской студии телефильмов «Танец в инвалидной коляске». Приз Союза кинематографистов СССР присужден шведскому фильму «Советский Союз — все в порядке» (автор фильма — Элизабет Гетборг).

Среди художественных фильмов Большого специального приза жюри удостоен фильм «Крик о помощи» (режиссер Сергей Потепалов, СССР). Такой же приз достался фильму «Приносящий неприятности» (режиссер Энди Бауч, ФРГ). Приз жюри за режиссуру — «Швидкаца».



Сдано в набор 25.08.88 г. Подписано к печати 18.10.88 г. Формат 84x108^{1/32}. УЭ 09030. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 5.400. Заказ 2686. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

КОНТРОЛЬНЫЕ

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Михаил ЛОХВИЦКИЙ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

ТЕЛЕФОНЫ: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი
„ლიტერატურნაია გრუზია“
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 კ.

88-661

ИНДЕКС 76117

ეროვნული
ბიბლიოთეკა

